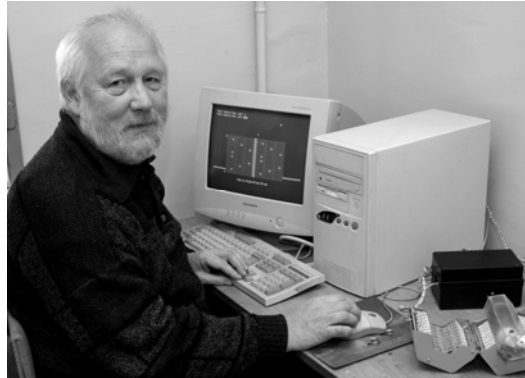

АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА

Алексей Яшин
(г. Тула)

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО ТРАМВАЯ



Пармена Игнатьевича до невозможности обидело наконец-то состоявшееся решение городской Думы об учреждении в видах благоустройства, удобства жителей и поощрения внутренних грузоперевозок во вверенном ее управлению губернском городе трамвайного сообщения. Первоначально — по маршрутам отживающих свое конок.

Не потому обидело, что Пармен Игнатьевич (проще — Пармен; только так и называл его за глаза весь город) был ретроградом, врагом электрической энергии и европейских новшеств. Так окрестил его, будто клеймом каторжным лоб прижег, думский гласный Короленков. Нет-нет, просто этого самого Короленкова, хлыща и купчишку несерьезного, но фасонистого — как же! Коммерческое училище прошел! — некогда по желанию Пармена высекли его лихие дьяволы-приказчики. Высекли на масленицу, на потеху всему православному народу. А Пармен-то Игнатьевич, не забывая, телефон дома установил, в пекарне у него тестомешалка от стационарного парового механизма работает! Так какой же он ретроград? У Пармена хоша и русская натура, но толк и пользу машин признает, довелось не раз и не два побывать в столицах и на Макарьевской. Все повидал, выставками промышленными не манкировал. Более того, в душе презирает знаменитого местного воротилу самоварного короля Баташова. У него корпуса из листа медного гнут, паяют, доводят — все руками. Скупится поставить пресс и вытягивать самоварные основы. Вон как на патронном-то заводе гильзы снарядные так и штампуют, так и вылетают они. Говорит, полмиллиона стоит, ежели у Круппа покупать, да установка, да приспособа всякая — еще на четверть набежит. А того в ум не возьмет, что деньги эти затраченные за год прибыли втрое принесут. За три-четыре года всю империю Российскую, Китай да Персию с Турцией завалит самоварами. Не понимает, жметя.

Конечно, по правде полной говоря, Пармен Игнатьевич, истинно русский человек, машинами своими более обязан старшему приказчику, образованному и ловкому малому, нежели собственным домыслам о их полезности. Но, как говорится, барин-то все же хозяин, а не челядь его... Когда в кармане радостно теплит ладонь серебряный целковый, тем паче золотая десятка, то меньше всего вспоминаешь о копейке-основе.

А обиделся булочник Пармен, владелец солидной в городе крендельно-каравайной торговли — дом его в три этажа красного кирпича с цифрами недавнего года постройки на фронтоне, с перворазрядной кондитерской и булочной не хуже той, что столичный Филиппов в их городе двумя кварталами ниже построил, где только и бывают посыльные от кухонь губернатора, предводителя, виднейшего в городе дворянства и серьезного купечества, тот самый дом на углу Киевской и Благовещенской — так вот, обиделся по той причине, что кроме мукомольни, пекарен, булочных и кондитерских лавок, пая в небольшом, правда, но устойчивом самоварном производстве купца Орлова, имел он доход от двух десятков городских извозчиков, работающих по подряду от конюшни Пармена Игнатьевича, работодателя и отца благодетеля. Так в извозчиках все дело было.

* * *

Не было в городе невеликом, но и немало человека, от носковского мещанина-огородника до последнего безусого подмастерья из гармонной мастерской, который бы не знал, не видел хоть разок мельком, не слышал, наконец, разных баек про булочника Пармена. Сама слава его была какой-то кособокой. Не имел Пармен миллионных капиталов и особой оборотистости. Далеко ему было до самоварщиков Баташовых, Батищевых, Орловых, Нефедовых, Синегубовых. Не владел он ни гармонной, ни пряничной, ни скобяной фабрикой. Песчинкой смотрелись его пекарни и лавки в сравнении с огромными, как иные уездные города, казенными оружейными заводами, на которых денно и ночью выделявали на славу Российской империи, да на страх усатому кайзеру и желтомордым япошкам, обидевшем-таки в пятом году государя и все православное воинство, винтовки и револьверы, пушки да пулеметы, да снаряд к ним; где трудились до двенадцати тысяч душ мастеровых. Сам царь Петр помогает казюкам крепить мощь государства: свежепоставленным памятником, в незазеленевшей еще бронзе стоит на оружейном дворе, в фартуке, искрами прожженном, и молотком выгибает стальную на наковальне полосу...

Пармен всего-то только купец второй гильдии, но человек поведения анархического, потому в регулярных учреждениях — Думе, правлении Купеческого клуба — не состоит. Народ там с замашкой на европейскую образованность, а потому не понимающий людей с широкой русской душой, каковой, вне всякого сомнения, награжден был при рождении Пармен — от папеньки Игнатия Тимофеевича.

При всем этом, однакоже, идет по Киевской заглавной улице, например, перво-гильдейный купец, оптовый мучной торговец Зимин, и мало кто ему кланяется. Городовой под козырек не берет, мелкие чиновники и те как на пустое место смотрят. А вот Пармену от всех уважение. С ним за руку и вице-губернатор, и начальник Оружейного завода, генерал-майор фон Вентцель, на что уж сухой остзейский немец. И тот же Зимин. Волком смотрит, а «наше вам почтение, Пармен Игнатьевич!» за три шага первый скажет. От серьезной власти и солидного купечества ему уважение, а простой народ так прямо восторгом преисполняется при виде Пармена. Иной, правда, скосоротится, ну да ясно, из приумолкших смутьянов, либо когда под горячую нетрезвую руку попал разгулявшемуся булочнику. А вот уж кто люто, хотя и трусовато, втихомолку, за глаза ненавидит Пармена Игнатьевича, так это мелкотравчатая губернская интеллигенция навроде учителя Благолюбова из частной гимназии, провизора Шайкевича да издателя либеральных «Вестей» Финкельштейна. Ну, эта публика известная с пятого года.

Власти уважают его за дело. В одном обществе Пармен принят радушно, и хотя не является его формальным главой, но только по своему капризу. Истинно же он душа губернского отделения «Союза русского народа». Власти-то хорошо помнят, что они должностью и животами своими обязаны Пармену Игнатьевичу! Когда в

смуту пятого года забастовали заводы и железная дорога, поддавшись стрезву пропаганде бунтовщиков, когда не осталось у губернатора никакой силы в подчинении, тогда и прошли по Киевской, а далее по Суворовской приказчики-молодцы Пармена, другие люди из верноподданных — человек под пятьсот. В черных рубахах, чуйках и однорядках, с хоругвями, у каждого вороненый револьвер в вытянутой руке, а впереди Пармен — бородища до пупа, саженого роста, кулаки по пуду. Один из полутысячи шел не с наганом, а с плетью. Подметная газетка Финкельштейна потом навалила сорок бочек мертвецов. Дескать шли пьянящие, за полверсты выдыхая спиртовой дух. Мол, сам Пармен лично выдавал каждому по полуштофной кружке водки, благославляя на поход против супостатов. Народ, понятно, не поверил. Приказчики у Пармена держались только трезвого поведения, и того Абрашка-газетчик в толк не возьмет, что с полштофа православный человек только дыхнет да и забудет, что пил. Попал пальцем в небо!

И так страшно, молча, тяжело ступая, дошли они до вокзала. На путях вместе с воспрянувшими духом казачками в дубье, в плети взяли бунтовщиков... и пошли, пошли, как миленькие, эшелоны с гвардейцами на север, в ближнюю столицу. Тогда лично и прилюдно назвал его губернатор-князь спасителем и троекратно расцеловал героя, а спустя короткое время и орден Святой Анны украсил сюртук Пармена Игнатъевича.

* * *

Но почему хмурится первостатейный купец Зимин — по той же причине кланяется в пояс Пармену весь народ. Натура булочника до предела беспокойная и увлекающаяся, что по душе истинно православному человеку. Пармена чаще можно было увидеть не в пекарнях, не в лавках, но наверняка на скачках, где он по-крупному играет с удачей. Это светлым днем. А вечером банк за банком срывает в Купеческом клубе либо в Благородном собрании. Родился под счастливой для фортунщиков звездой — карты послушными лошадками, как его верные слуги, бегают; только дармовые денюжки как приходят, так и уходят. За пару-тройку дней прокутит со всяким городским сбродом выигранные тысячи, польет клубный паркет шампанским, под конец нафиксагуарит мордасы кому-то из мелких купчиков, а опосля расплатится с ними полюбовно. Иной же раз — через судебные кляузы.

За то народ уважает Пармена, что в обычае у него: выиграл крупно на бегах, сорвал банк на пяток тысяч — сразу на копейку цену на хлебный каравай сбавляет... до воспоследующего проигрыша. Отсюда и поговорка губернская: «Выиграл Пармешка — подешевела коврежка!» А когда у того же Зимина, игрока тоже азартного, но незадачливого, выиграл вагон муки, уже груженный к отправке в Гельсингфорс, то два дня в главной булочной приказчики — знай наших! — раздавали дармовой хлеб. Христианское это дело пресек, прислав пристава с нарядом, председатель казенной палаты, усмотрев в бесплатной раздаче караваев и саек фаланстерскую ересь и пропаганду Марксова «Манифеста».

Уважал Пармена городской люд.

* * *

Если что не по нем, то Пармен Игнатъевич впадал в форменное помешательство. Так и узнав о решении городской Думы, мигом прекратил торговлю во всех лавках, собрал приказчиков, грузчиков, ломовиков и прочую челядь в подвале своего дома — под главной булочной. Выставил бессчетно четвертей водки, сам в дым напился и кричал, кричал Пармен Игнатъевич:

— А-а! Головы премудрые, конки им мало, извозчиков, трамвай электрический подавай! Знаем мы для чего трамваи нужны: приличному человеку они не надобны, а смутьянам да жидам — бомбы перевозить чтоб сподручнее было.

И много другого гневного и обличительного сказал пьяный до синевы Пармен. Опосля с приказчиками ездили на конюшню, забрали несчастных — от трамвайного лиха — извозчиков и всю ночь пировали в извозничьем же трактире Федулова. Под утро Пармен, весь в слезах, с измочаленной бородой, целовался со своими лихачами и ломовиками, причитая горестно:

— Сиротинки вы мои, губят вас антихристы, трамваем давят...

Потом все собирался со своими орлами идти громить бунтовщиков и их думских потворщиков, но на выходе из подвала его могучее тело сломилось пополам, Пармен упал на руки приказчиков и захрапел. Отхаживали его домочадцы. Снились ему думские хлыщи, аптекари и гимназические либералы, раскатывавшие по городу в искрящих электричестве трамваях.

Было утро. Пьяные разбрелись малопьющие приказчики и осиротевшие извозчики, унося наградные — разбросанные щедрой рукой благодетеля зелененькие, синенькие, а кто и червонцы да «сашеньки».

* * *

Даже не возможность потери извозничьего промысла разгневала Пармена (ведь почтительно, но настойчиво говаривал ему старший приказчик, что-де трамваем будут в основном пользоваться городские мещане да мастеровые, а барин — он и сейчас и при трамвайном сообщении поедет в коляске с лихачем на резиновом ходу. Очень ему нужно трястись с грязным народом, как в сельдяной бочке, в грохочущей железке!), а так: ну не понравилась ему сама идея заведения трамваев и вбил себе в голову: не жалаим!

Однако судьба обездоленных лихачей не давала простору для мыслей и выдумки. Потому, проснувшись ближе к полудню, Пармен опохмелился и живо вспомнил ночные поминки по гибнущему от искрящего, скрежещущего трамвая исконному, на шинном мягком ходу извозничьему промыслу.

Надо принимать меры, но городская Дума с ее трамваями не бунтовщики-мастеровые с коноводами-аптекарями. Их в плети и дреколье не возьмешь, следует партикулярно осиливать. Пармен Игнатьевич, приняв еще стопку, велел человеку живо сбегать за отцом Паисием, священником церкви Фрола и Лавра. Поповка Паисия стояла рядом, в пятидесяти саженьях. Скоро явился и семидесятилетний кум и всегдашний застольник булочника, сребровласый отец Паисий. Приняв за компанию со священником уже третью стопку, за закуской Пармен излил душу духовному пастырю третьего уж поколения их рода и заключил беседу коллекционной мадерцей и неожиданной просьбой: встать с крестом, в полном праздничном облачении, с дьяконом и хором во главе Парменова воинства из молодцов-приказчиков, бедолаг извозчиков и другого почтительного к булочнику люда — и повести крестный ход до Думы, мимо Благородного собрания, Купеческого клуба, губернаторского дворца, молясь об изничтожении божьим соизволением в самом корне либеральной мысли об устройстве в городе электрического трамвая.

Опешивший отец Паисий сходу отказал, трепеща и сам лишиться на старости прихода, и сыновей-внуков обездолить. Пармен только рукой махнул. На старые дрожжи его развезло, сообразие мысли совсем утратил.

После ухода напуганного священника хозяин выпил одну за другой еще три рюмки, оправился от мрачности духа и объявил вызванному старшему приказчику: полную неделю извозчикам бесплатно возить народ (конечно, сажая публику почище, не шантрапу какую), втолковывая седокам, что барин-де разорится, но трамвая не допустит, а всякий враг думских трамвайщиков будет отныне собиным другом Пармена Игнатьевича, за которым благодарность никогда не пропадала.

Тотчас было передано и исполнено; Пармен же тихо и покойно задремал.

* * *

Спал он недолго. Могучее здоровье в полтора часа справилось с утренним похмельем и со вчерашним разгульным тяжелым хмелем. В положенное к вечеру время, успев побывать у двух купцов из числа солиднейших — самоварщика Устюжниковова и скобяника Орлова (с последним успел и закусить в лучшем в городе трактире Сырокомова), — где интриговал все по тем же трамвайным делам, Пармен явился в Купеческий клуб. Игра состоялась значительная, но после первого круга случилось досадное. Некоторый купчик, не стоивший и случайного плевка, втиснулся в беседу:

— Пармен Игнатьевич, говорят, вы, в поощрение вашего-с противления новейшей в городе трамвайной идеи приказали своим извозчикам бесплатно возить всякого рода публику?

— Да, — буркнул Пармен, не отрываясь от карт.

— И с какого же это дня-с?

— Что... с какого!?

— Возить бесплатно-с будут?

Из дальнейшего разговора, все более и более занимавшего внимание Пармена Игнатьевича, выяснилось, что с означенного купчишки его, Парменов извозчик сегодня взял полтину — от Никитской до Стародворянской. Такие же действия, по его наблюдениям, производились и другими Парменовыми извозчиками. Вспыллил булочник:

— Канальи! — И тут же послал клубного лакея с устным приказом старшему приказчику: немедля собрать всех выжиг-извозчиков, рассчитать, выгнать в шею всех до единого, извозный промысел лихачей закрыть. Лакей умчался.

Меж тем карточная игра продолжалась. Спустя некоторое время другой клубный лакей почтительнейше попросил краснолицего, не остывшего от гнева на извозчиков Пармена Игнатьевича к телефону. Звонил старший приказчик. Для подтверждения необычного распоряжения хозяина.

Пармен рявкнул матерно и велел уволить канальей.

— Слушаюсь! — ответил хитрец приказчик. Пармен вернулся к сукну.

В этот же вечер Пармен проиграл всю конюшню с лошадьми, колясками и сбруей Орлову. Проиграл в спешке, почти нарочито. Был пьян и лют. Домой возвращаясь, страшно ругался, нарекал всех канальями, включая городского голову и губернатора (заглаза).

* * *

На следующий день несколько отвлекся от досадных мыслей о трамвайном зле. Причина того — число дня месяца июля, именно воследовавшего за разорением извозного промысла: Петров день — узаконенное традицией народной жизни время хулиганств и кулачных боев.

К полудню Пармен Игнатьевич в сопровождении домочадцев, старшего приказчика, именитых гостей из купечества на многих колясках отправились на Батищеву поляну, где издавна стенка на стенку бились Пореченская казюковская и Носковская слободы. (Надо ли говорить, что экипажи Пармену с сотоварищи любезно предоставил их новый владелец Орлов).

Народу в низину-пойму речки, разделявшей слободы, сошлось видимо-невидимо. Мастеровые, чиновники, городские мещане, ребятня толпились по обе стороны, облепив длинные пологие спуски. Преимущественно сидели на травке семьями, молодые ребята — компаниями, пили водку, хрустели огурчиками. Празднично наяривали в привычных руках настройщиков хромки. Немало уже ничком лежало упившихся тел, мелкими кучками задирались между своими.

Купечество, зажиточные мастеровые, невысокий чиновничий люд стояли по-

одадь на лучших местах Пореченской стороны: по бульвару Миллионной улицы и пониже — у Батищевского сада. Совсем чистая публика расположилась с комфортом: купцы-заводчики и фабриканты — в самом саду; городские власти, дворянство — на летней террасе трактира Сырокомова. В центре террасы, обслуживаемые самим почтительнейшим хозяином, сидели наименее значительные персоны: вице-губернатор, предводитель, начальник оружейного завода генерал-майор фон Вентцель, а с ним инспектирующий из Петербурга ответственный чин из военно-морского министерства. Фон Вентцель привел его на экзотическое зрелище.

Пармен же Игнатьевич, оставив своих провожатых и домочадцев в почетном месте Батищевского сада, раскланялся с вице-губернаторской ложей и в сопровождении Федора, самого здоровеннейшего из своих приказчиков, поспешил к месту игрища. Не глядя, сбросил на чьи-то услужливые руки дорогого сукна поддевку, засучил рукава и встал в дружину пореченских бойцов. Федор дышал в затылок луковым духом. Напротив, через лужайку, гуртовались раскрасневшиеся от водки и возбужденные битвы носковские самоварники и патронщики.

Но это еще не все. По мановению руки Пармена, знаменитого бойца и признанного главы пореченской дружины, тройка приказчиков примчала на тележке (лошадь выпрягли, ибо ей было не пробиться по склону в густой, полупьяной и мало что от вина и задора соображающей толпе), десятиведерную бочку, которую тотчас сгрузили. Федор вышиб затычку и вернул кран. Пармен принял из рук запотевшего приказчика малый полуштофный ковшик. Бойцы, приглаживая волосы, чередой потянулись к дарующей руке, выпивали доверху наполненный черпак, — спасибочко! — с поклоном благодарили Пармена Игнатьевича, брали из наваленной на тележке горки по аппетиту огурчик, пучок зеленого лука, вяленую рыбку. Накладывали на порезанные калачи охотничью колбаску, сыр со слезой, буженину, наскоро закусывали и грозно, боевито откашливаясь, стягивались подковой к вытоптанному центру лужайки.

То же самое действие происходило и на носковской стороне. Там народ угощал самоварник Худяков вкупе с гармонными фабрикантами Крашенинниковыми. Под конец угощения некто по-двое, в суконных пиджаках, в которых без труда узнавались заводские мастеровые, разнесли по обеим сторонам несколько ведер водки. В публике, принимавшей угощенье, шептались, что-де генерал Вентцель, в ведении которого был и Оружейный — пореченской стороны — завод, и расположенный в Носково Патронный, выставил от себя и тем и другим без обиды. Генерала одобрительно хвалили: хоть немец, да человек!

Внезапно смолкли гармошки на носковской стороне, утихли скандалы, скандалчики, драки и драчки. Бойцы стенками-подковами стояли друг перед другом. Перед пореченской ратью прохаживался Пармен, веселый, красный как из бани... Как водится, поначалу выпустили по пятку мальчишек-подмастерьев. Те с петушиными криками, звонкой матерной бранью стали азартно ставить друг другу фингалы и вышибать зубы. Заклубилась пыль на притоптанной лужайке, под ногами дерущихся лежала пара сплюснутых сапогами фуражек. Косой Свирька, первый хулиган из подмастерьев Пореченской слободы, изловчившись, саданул малорослого парнишку, но что-то уж сильно ударил (хотя сам хлипковат был). Носковский парень брыкнулся оземь, пару раз крутанулся и страшно-больно закричал.

— В руке, в руке-то пятаки! — подхватили крик носковские драчуны. Из стенки выбежал гармонный мастер Платон Охрипов, ухватил Свирьку за шиворот, разнял кулак и с торжеством показал всему честному народу полуфунтовую свинчатку, забросил ее поодаль и с растяжкой ударил хулигана прямо в душу. Тот без единого стога, онемев, перегнулся и рухнул в поднявшуюся пыль.

— Народ! — завопили в публике пореченской стороны, — малолетку убили-и!

А из Парменовской дружины с матерным лаем выбежал Николай Родионов, род-

ной дядя Свирьки, с налету кулачным ударом раскровянил Платону нос. В народе взволнованно прошелестело:

— Началось!

Обе стенки торжественно и в полном молчании, смыкаясь флангами, двинулись навстречу друг другу, навстречу пудовым кулакам, ломаным ребрам, выбитым зубам, а может, если Господь того пожелает, и истинно христианской смерти в честном бою.

— Началось!

* * *

На сей раз слишком щедрое угощение поставили бойцам, поэтому драка как никогда случилась страшная и кровавая. Пармена-благодетеля замертво вынес сам растерявший седмицу зубов верный Федор. Впрочем, булочник скоро ожил заботами своих домочадцев, омыл с лица и рук кровь, переоделся в чистую, загодя запасенную одежду, выпил для освежения чувств и тела четыре рюмки «Смирновской» и полчетверти пива, закусил у гостеприимного Сырокомова ушицей, а главное — с интересом наблюдал завершение битвы (сам потому не смог вернуться на позиции военных действий, что мешал забинтованный сломанный мизинец левой руки). А окончание случилось серьезным. Дело в том, что распаленные мужички обнаружили у двух-трех бойцов-пореченцев придерживаемые в кулаках, правда не свинчатки, но вполне увесистые медные пятаки с вензелем Катьки-царицы. Подобного нахальства носковцы не стерпели. Кто-то схватил кол, выдернутый из ограды ближнего дома мещанина Филиппова, другой невесть откуда взявшуюся железную поковку... Словом кровяница полилась рекой, под ногами дерущихся валялись уже не картузы только, но страдалицы, истекая красной пеной на пыльную утопанную землю. В этот-то интересный момент саданули поддых Пармена и обломили злополучный мизинец.

Слишком часто падавшие люди и дреколь в руках бойцов встревожило обер-полицмейстера. Он наклонился к уху вице-губернатора:

— Ваше превосходительство, не прикажете ли разогнать? Членовредительство уж очень заметно.

Тот, поднимаясь с кресла, промолвил:

— Что ж, пожалуй, пора.

Вице-губернатора смутило не столько кровопролитие, а серьезный, изучающий взгляд петербургского гостя. Даже пожалел, что устроил официальное присутствие.

Вослед пошли и остальные, веранда опустела, половые бросились прибирать столы, перестилать скатерти. Обер-полицмейстер бросился к стоявшему обочь Миллионной полицейскому взводу. В этот-то момент гулко прогремели со стороны низины выстрелы.

* * *

Тотчас выстрелы забухали если не частоколом, то во всяком случае с внушительной быстротой. В многотысячной толпе любопытствующей публики раздалась крики ужаса, женские вопли и детский надрывный плач. Полицмейстер, побледнев, погнался свистающий в свистки взвод прямо по ногам забившей косогор публики, по разложенной закуске, бутылкам, посуде. Драчуны вмиг рассыпались, только с пяток наиболее рьяных никак не могли расцепиться. Полиция хватала всякого с признаками драки: крови, растерзанной одежды, дикого озлобленного взора. Подкатали реквизированные извозчики, собирали лежащих на земле людей с признаками и без оных жизни.

Уже в трактире Сырокомова, сидя со своими гостями за обильно и умело сервированным столом (после ухода губернской власти весь большой зеркальный зал заполнился купечеством, богатыми подрядчиками, средним чиновничеством), геройски

уложив на столешницу между блюдом с осетром и мандариновым вазончиком руку с обвязанным мизинцем, Пармен услышал от припоздавшего купца Филимонова, помогавшего со своими приказчиками полиции вылавливать драчунов, окончание битвы и разъяснение стрельбы.

Оказывается, оглушенный ударом железной поковки, некто Маслов, мастеровой-надомник, обиделся страшно и, немного очухавшись, выбрался из свалки дерущихся. Придерживая рукой разбитую челюсть, сбегал в ближнюю — на Пореченской стороне — портерную, заложил по-дешевке серебряные «Павел Буре», заскочил в недалекий свой дом, выгреб что было из кубышки, не отвечая на любопытные расспросы девяностолетнего деда. На обратном пути заскочил в пару подворотен, пользовавшихся у полиции дурной славой, и, запыхавшийся, пробился к полю боя уже с тремя несамовзводными солдатскими наганами и горстью патронов. Сунул два револьвера своим ребятам, а сам отыскал обидчика и три раза подряд выстрелил в него. С этого все и началось. После уже и хулиганы стреляли из публики. Итого, как подытожил вестник, общим числом убито трое, из них застрелены обидчик Маслова и шальной пулей — прачка фабриканта Синегубова-младшего, стоявшая в публике. Ранено и покалечено двенадцать, арестовано под три дюжины. Кроме того, во время зрелища в опустевшем городе совершено два десятка краж, среди которых и значительная: опытной рукой сработана патентованная немецкая денежная касса на фабрике Орлова. Взято денег, векселей и акций на восемнадцать тысяч четыреста тридцать один рубль.

Расходящаяся публика одобрительно шумела: веселый ноне бой получился! Пармен же, весь налившийся кровью, встал, поддерживаемый верным Федором, и гаркнул за драгоценное здоровье государя-императора и всего августейшего семейства. Грянул хор присутствующих, и начался пир. Неслышными, бестелесными птицами летали меж столов, разнося бутылки и яства, вышколенные сырокомовские половые.

* * *

...Через 60 с небольшим лет внучатый племянник (это вроде как великий наш демократ Афанасьев — товарищу Троцкому) Пармена Игнатьевича — Семен, юрисконсульт швейной фабрики, жил и здравствовал в том же городе. Скупое, со слов отца, бывшего фронтовика, затем горнового металлургического завода, парторга цеха, слышал он о своем скандальном пращуре. Отец, прошедший суровую школу жизни, не любил таких колоритных воспоминаний.

Получилось так, что в ночь на Петров день Семен, как руководитель (по схожести профессий) своего фабричного ДНД, до утра дежурил в штабе Пореченского района. Ночь выдалась хлопотной. По давней, неумершей традиции вовсю хулиганили молодые ребята: как комсомольцы, так и шпана. Пээмгешки за один заезд привозили до пяти задержанных. В штабе составляли для райотдела описание их подвигов: те-то установили «Запорожец» пенсионера-инвалида Сидякина на доминошный стол во дворе, другие связали бельевой веревкой все двери первого этажа в подъезде кооперативного дома, а третьи и вовсе снесли ворота в частном домовладении...

Утром Семен не пошел на работу, поспал до обеда, опосля послонялся по дому, покурил в саду (жил он в собственном, отцовском доме в пригороде), а ближе к вечеру отправился в город. Неспешно и без особой цели прогуливаясь по тротуару центральной пореченской улицы им. Ленских событий (бывшей Миллионной), на перекрестке с недавно перепланированной улицей Академика Королева (еще через двадцать лет в угаре обновления обе улицы перекрестят, соответственно, в проспект Демреформ и Академика Сахарова) он встретил троих своих коллег по работе, инженеров, накануне вернувшихся с сельхозработ в подшефном совхозе, а потому отмечавших «банный» день. Семен опомниться не успел — а ведь были же у него какие-то дела? — но, видно, не особо важные? — как они всей компанией, освежиться по

случаю духоты воздуха в атмосфере оказались в «Радуге», ресторане, унаследовавшем свое название и самое помещение, ныне расписанное «под Палех» взамен давным-давно побитых зеркал, от бывшего трактира Сырокомова. От тех же времен остался и вид на застроенную блочными девятиэтажками пойму речки-невелички между Носковым и Поречьем.

В недавно отремонтированном капитально зале, где от былого великолепия остались лишь десятиаршинные потолки, в виду раннего промежуточного времени суток было пусто. Официантки все до единой скрылись в служебке. За несколькими столами мужики пили попарно позавчерашнее «Славянское», почему-то с явным привкусом ванили. В сгороженном одновременно с ремонтом баре скучал молодой тонкогубый парень в джинсах, алой рубашке, с большой бутафорской сиреновой бабочкой. Кто его так вырядил? Он скучно менял пластинки на проигрывателе. За стойкой тянули мутный коктейль двое заводских парней, невероятно пораженные доселе виданным только в закордонных фильмах: баром с пустыми фигурными бутылками, подобранными на московских помойках, пластмассовыми соломинками и «червивкой» местного совхоза, смешанной с апельсиновым соком.

Еще к бармену уныло приставал мужик в галстук, лет под тридцать, по виду — колхозный агроном, приехавший на семинар по линии Агропрома. Он требовал налить ему водки и совал трояк. Бармен заученно бубнил:

— Я торгую слабыми, средними и крепкими спиртными напитками. — На что агроном резонно отвечал:

— А разве водка не спиртной напиток?

* * *

С полчаса они маялись, сидя за пустым столом, вяло рассказывали анекдоты про членов ЦК КПСС. Ни одной официантской души! Собери все скатерти в узел и унеси — никто и внимания не обратит. Двое, плюнув, ушли. Торопились, и время, что рассчитывали провести за скорым пивком, иссякло. Семен остался на пару с Юркой, инженером из отдела главного механика. Наконец-то в зале объявилась официантка, но она не властвовала над их столом.

— Мадам! Скажите же нашей, если не померла еще: сорок минут ждем,— взмолился Семен.

— Сейчас придет,— кротко ответила официантка и сама вновь скрылась от греха и суеты подальше.

Когда минул ровно час ожидания, когда загудел заметно наполнившийся зал, из служебной двери полувзводом вывалились официантки. Самая древняя, с седыми всклокоченными патлами, враскачку подбрела к их столу. Не глядя на клиентов, равно как и на неубранную от предыдущих посидельцев посуду, оперлась подагрическими ладонями о залитую соусом скатерть, глухо осведомилась:

— В чем дело? — глядя поверх голов в сторону сияющих в лучах заходящего солнца золоченых куполов собора местного кремля.

Юрка, недавний еще ленинградец, не воспринявший в полной мере местную культуру общения, вытаращил глаза, после — расхохотался так искренне, что весь наполнившийся инженерами, фарцовщиками, офицерами, искательницами приключений и откровенными пережитками эпохи полового неравенства ресторанный зал засмотрелся в их сторону, но не поняв причины веселья, все тотчас и отвернулся.

Старуха угрожающе заворчала и уплелась назад, а наши страдальцы еще с четверть часа ждали, пока мегера принесла-таки водку и жухлый помидорный салат. Минералку, сигареты и спички она, конечно, забыла и принесла в следующий заход.

Чтобы освободиться от дремоты ожидания, они быстро, одну за другой, хлопнули по три рюмки. Головной зуд прошел, неприятность бесконечного ожидания забы-

лась. Разговорились. Через час, пожелав заказать еще бутылку, Семен принялся выискивать почти что окончательно пропавшую фурию в фартуке. Обнаружив ее где-то в углу, за баром, он дико закричал:

— Мадам! Мадам!

Впрочем, та услышала, подошла, бормоча в сторону:

— Девок вам что ли посадить?

Наверное, так она и поняла и скоро посадила двух девок, вынудив их уйти с соседнего стола, который-де уже заказан.

Все дальнейшее малоинтересно. В начале одиннадцатого часа наши герои покинули заведение. Девки же, продавщицы из продуктового, поняв, что у них в карманах «по-интеллигентски» пусто, остались ждать приличных женихов на час-другой, а может, если судьба улыбнется, и на всю оставшуюся жизнь в труде и радости, отдыхе, семье и детях.

Семену запомнился взгляд одной из них, знающей себе цену хохлушки, которым она проводила уходящих парней. Подумалось: вот что ей сейчас до боли, до колик в животе, в нутре, истерзанном абортными, нужно — чтобы вошел под закрытие ражий мужик, этакий шкаф с толстой мордой, лошадиными бицепсами и полуаршинным «предметом», взял грубо за руку, вывел со словами «ничего тебе здесь торчать-киснуть», посадил в машину, сунул за лифчик пару косых и трое суток держал у себя, услаждая изголодавшуюся в тюрьме, в воркутинском забое живую плоть. Величайшее твое счастье — принадлежать животному, да еще и оплачивающему твое и его удовольствие. Тьфу!

* * *

Два дня Пармен Игнатьевич не выходил из дома. Лечил поломанный мизинец, кушал понемногу водочку, а все больше прогуливался по гостинной взад-вперед. Тук да тук постукивал каблуками подкованных сапожек в паркетный пол. Понятно, не боль в пальце, завернутом в бамбуковый лубочек и искусно забинтованном, волновали и заботили его в эти дни. Все тот же проклятый трамвай покоя не давал.

— Эх выдумали на голову честных людей этот трамвай?! — думал Пармен Игнатьевич, начисто забывая, что именно он-то в четвертом году сам ратовал за трамвайное сообщение, насмотревшись как ловко он бегаёт в столице. Он и агитировал всех отцов города, купечество, да так рьяно, что наверняка бы сагитировал, не начнись бунты и прочие беспорядки по всей Российской империи, надолго прервавшие всякие новомодные прожекты.

Отчего случился такой чудесный поворот в мыслях и делах Пармена Игнатьевича? Уж, конечно, не из-за распущенного (кстати, самим же) извозного промысла, не из-за отвращения к новейшим механизмам и электрической тяге... а отчего? Один ответ здесь будет правильным: из-за православной, истинно русской широкой природы Пармена Игнатьевича.

— Что хочу, то и ворочу!

— Сегодня одно разумею, а завтра другое делаю!

А может смутное время красноречивых бунтов, стачек и забастовок подействовало на почтенного булочника таким образом, что стал он пугаться всяческих железных приспособлений. Ведь всерьез же кричал криком в Купеческом клубе:

— Да трамваи-то жидам и нигилистам нужны, чтобы сподручнее было револьверы с бомбами перевозить с позиции на позицию, да еще и прокламации на ходу из окошек разбрасывать!

Но как бы там ни было, теперь Пармен Игнатьевич не пожалел бы всего своего капитала, дабы не допустить трамвай в город.

— Человек рожден по воле Господа ногами по земле ходить, а не в трамваях

раскатывать! — хмуро бормотал в тишине гостиной Пармен, — надо что-то делать? Вот ранение-контузия меня на два дня из строя вывела, ничего, с завтрава другой бой начнется... против трамвайщиков.

А слова Пармена тверже стали.

* * *

Что задумал, то и исполнил. Великой сметкой и хитростью наделила Пармена природа. Оправившись от ранения, на четвертый день от знаменательного боя, о котором еще и неделю спустя язвили и злословили все либеральные газетенки в столицах и университетских центрах, велел Пармен звать гостей на обед по-старинному, по-дедовски, без устриц и ананасов, но с тройной стерляжьей ухой, «Смирновской» с печатями, коньяком от Шустова, мадерой с корабликами, рыжиками в собственном соку, расстегаями, белужьим боком и всем остальным, чем богата пока еще, не оскуденная нигилистами и провизорами-бомбометателями Российская земля. Велел он звать и сомнительного члена новоявленного комитета Думы по изысканию и прокладке трамвайных путей, спивающегося адвоката Спасокукоцкого. За обильным застольем, за беседой узнал Пармен от пораженного таким вниманием и обласканного адвокатишки всю подноготную комитетских дебатов. А узнав, тотчас нащупал узкое место. А нащупав, в тот же день распорядился какими угодно деньгами купить домишко мещанина Усысоева со всеми строениями и огородом на берегу Батищевского пруда. Уже к ночи дело было порешено, а очумевший от дара небесного, сам сильнопьющий, Усысоев гулял напропалую. Даже злющая и скупая его супруга, онемевшая от одного вида таких денег, самолично выдала на разгул пару красненьких. И пока муж гулял в третьеразрядном трактире, где его и подцепила некая рябая девка, у которой он, семейный человек, торговый мещанин, очнулся поутру без единой копейки, она же, супружница Глафира Никитична сняла от домовладельца Пырщикова прекрасный флигель с участком в Поречье на Миллионной и думала, любуясь: как же хорошо и завистливо будет смотреться фронтон флигеля, украшенный вывеской: «Мелкая и бакалейная торговля Усысоева и сыновей». Было у них три дочери и сын — дурачок от рождения.

Но еще более радовался Пармен. Знай это, Усысоиха взяла бы с него и вдвое-трое бóльшие деньги за свою лачугу с сараем.

* * *

После той бешеной ночи, когда торговый мещанин Усысоев пьянствовал и прелюбодействовал с рябой девкой, а Пармен, послав старшего приказчика купить неказистый домишко, продолжал за закуской деловой разговор с членом трамвайно-строительного комитета городской Думы Спасокукоцким, уточняя различные, второстепенные вроде детали предприятия, к удивлению всей губернии, только-только решившей насладиться длительной схваткой Пармена Игнатьевича с городскими властями и трамвайным поветрием, все вмиг утихло.

Пармен загадочно улыбался, хулу на трамвай не пушал, вроде даже и смирился. По-прежнему удачливо играл на бегах, в Купеческом клубе, вновь сбрасывал копейки с коврижек, но... вот это «но», это показное покорство судьбе неуступчивого Пармена озадачило горожан.

— Что-то здесь не так! — говорили на базаре. Им вторили в лавках и канцеляриях, пожимали плечами даже в Дворянском собрании и губернаторской резиденции.

Это «но» внезапно выскочило через год и прямо в лобешник ударило потерявшие бдительность городские власти и Комитет трамвайщиков. Ведь не зря жил припевающе облагодетельствованный мещанин Усысоев. Не дурак был Пармен Игнатье-

вич, купивший на имя дальней родственницы старшего приказчика в один вечер за громадные деньги халупу пьяного мужичонки. Наконец, не зря день и ночь говорил он за разносольем и шустовским коньяком с членом трамвайного Комитета Думы адвокатом Спасокукоцким. В один распрекраснейший день, почти как год тому назад во время смертоубийственного боя в межслободской ложбине, к бывшему владению торгового мещанина Усысоева притащился рассыльный из Думы, вынул из сумки росписную книгу, прокричал хозяина. После троекратного призыва из домишки вы-полз вовсе не торговый мещанин Усысоев, а некто древний Егор Голубин:

— Ште надобно?

— Из Думы. Здесь живет Усысоев, владелец дома и участка?

— Ни-и, хозяйка-то моя племяшка. Она самая в Епифани земской фершалицей теперича проживает, а я тут-ка все коротаю...

— С каких это пор?

— Да год уже миновал, солдатик.

После непродолжительного разговора курьер, за неграмотностью деда, заставил его поставить крест в книге и ушел восвояси. Думские чиновники скоренько размотали дело с продажей и устно, по телефону, а потом и письменно попросили досто-почтенного Пармена Игнатъевича посетить городскую Думу по вопросу, представляющему для него интерес. Он, конечно, не пошел, а послал досужего от дел приказчика, даже не старшего. Однако с видимым нетерпением ожидал его возвращения. Коварна же месть Пармена!

Приказчик явился пополудни и объявил, что-де Дума желает выкупить у благо-детеля записанный на фельдшерицу имя-рек домишко с участком на берегу Батищев-ского пруда, поскольку именно там предполагается в обход пруда прокладка трам-вайной линии пореченского маршрута. И что-де ответ положительный требуется не-медля как на завтрашнее утро. Пармен Игнатъевич расплылся в благожелательней-шей улыбке и рек:

— Сами придут, ежели надобно. Больше туда не ходи.

* * *

Тут-то началась громкая война Пармена, юридически представляющего интересы фельдшерицы, занятой работой в епифанском земстве, против городской Думы. Дейст-вительно, сами пришли, не только рассыльный, но и председатель Комитета с ухмыляю-щимся Спасокукоцким, за последний год остепенившимся, бросившим пить и на сэко-номленные деньги купившем вполне приличный для его адвокатского звания особнячок на престижной Жуковской улице. И сам инженер трамвайной стройки с ними, видные гласные Думы. А к полудню, в разгар беседы, подкатил сам городской голова.

Пармен принимал высоких гостей радушно, в соответствии с их званиями. Голо-ву самолично встречать вышел во двор и с почтением ввел в покои. Горничная с ку-харкой беспрерывно метали на стол. Однако ответ Пармена гостям, независимо от их сана, был един: нет, милостивые государи, не могу осиротить фельдшерицу, она мне может жизнь спасла — помните в прошлом годе на игрищах мне мизинец переломи-ли? Почитай, гангрена уже пошла по телу, антонов огонь, а она, голубушка, в два дня отходила. Вот и купил ей домик на старость; там хорошо, водичка, вдали от шума городского! Все по христианской заповеди делаю: возлюби ближнего своего. А не захочет благотельница из Епифани своей уезжать, так мыслишка есть заняться са-моварным промыслом. Буду на том участке фабричку ставить. Благо и вода, пруд. Вот-де из Германии от Круппа выпишу пресс, буду по-новому корпуса штамповать. Электричество подведу для станков доводочных работ, паровой привод — вот и вода нужна; где еще лучше место найти? Дело наше купецкое тонкое, сегодня уступи, так завтра локоть кусать будешь.

Гости кисло слушали величаво-благодарные рассуждения Пармена Игнатьевича, поддакивали новому самоварному заводчику, пили настоенную на рябине водочку и коллекционную мадеру, закусывали малосольной осетриной, грустнели прямо на глазах, убеждаясь, что Пармен, раз взявшись даже за самое дурное дело, ни за что не отступится.

Дело приняло скандальный оборот, жаловались губернатору. С Парменом перестала здороваться половина Купеческого клуба. А тот только сочувственно улыбался купцам, вложившим кровные в трамвайный прожект: мол, рад бы, да своя рубашка... Против этого даже либеральные газетки ничего толком не могли возразить. Частную собственность надо уважать!

Закончилось тем, что в один осенний день подошли к пруду с сотню мужиков, работающих по планировке местности под трамвайные пути, и начали сбрасывать в пруд с берега, на котором стоял злополучный домишко, камни и разный мусор, что беспрестанно подвозили на ломовых подводах. Полоску в два-три аршина по берегу Пармен сдал в аренду трамвайному Комитету за такие бешеные деньги, так что даже на две копейки сбросил цену на хлеб.

Пруд оказался у берега глубоким, подмывался сильными и частыми ключами, так что работы обошлись городу недешево, главное же — здесь будущий ровный трамвайный путь неестественно искривлялся и подковой огибал полуразвалившуюся халупу с участком, заросшим чертополохом, но зато окруженным свежепоставленным узорным, очень даже щегольским саженным забором из струганных дубовых плах.

Пармен же порадовался победе, но скоро к трамвайному предприятию сделался равнодушным; увлекся церковным пением.

* * *

Однако трамваю не суждено было осуществиться и даже не по умыслу Пармена. Не успели закончить планировку и привязку места под пути, как кайзер затеял войну на Балканах руками своих приказчиков-австрияков. Царь-батюшка вступился за православных сербиян. Грянула Отечественная война, позже названная большевиками империалистической. О трамвае забыли надолго, вплоть до сталинских пятилеток, когда к власти пришли люди государственного мышления, разогнав бывших аптекарей и адвокатов.

Сам Пармен, к счастью, не увидел пришествия Антихриста, помер естественно от какой-то непонятной нутряной хвори, что сломала могучий организм. Хуже пришлось его орлам-приказчикам. Многих, ох, многих, отправил в Могилевскую губернию за участие в «Союзе русского народа» провизор Шайкевич, ставший (благодаря местечковому еще родству с провизором же Якиром, впоследствии командармом) начальником губернской ВЧК. Старший приказчик откупился от Косой, заплатил за жизнь мешочком золотых десяток — супруге Шайкевича и добротным, в трех уровнях, домом на Гоголевской — комиссару Финкельштейну, бывшему издателю либеральных «Вестей». Тут-то и пригодился бедолаге домик на берегу пруда. Потомки его тихо-тихо жили вплоть до времен, пока не получали квартиры в новых домах на Максима Горького и Пузакова в период торжества социализма. Домик же как-то сам рассыпался.

И сейчас редко гуляющие, а чаще выпивающие на берегу заросшего тиной, залитого бензином с соседней нефтебазы пруда порой недоумевают: отчего это в одном месте берег подковой выступает? Молчит история. Так или примерно так начинался городской трамвай.



Татьяна Кутикина
(г. Узловая)



Кутикина Татьяна Викторовна родилась в г. Узловая Тульской обл. Участвовала в четырех областных литературных семинарах, в 2005 г. — в проходившем в Москве Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне», в 2007 г. — в Седьмом Всероссийском Форуме молодых писателей в подмосковных Липках. Автор двух собственных книг: романа в трех сказках «Тучи и радуги над Солнечным царством» и поэтического сборника «Белизна и многоцветие». В настоящее время работает над новым романом.

Татьяна Кутикина окончила Тульский областной колледж культуры по специальности «библиотечное дело», а затем Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве по специальности «религиоведение». Специализировалась на кафедре философии. Теперь работает преподавателем воскресной школы г. Новомосковска и преподавателем философии в институте повышения квалификации г. Тулы.

МЕСТЬ

Эта женщина всегда ходила в черном. А он ходил за нею по пятам, не решаясь приблизиться. Лишь однажды мельком ему довелось увидеть ее лицо. Он сразу понял, что это лицо неземного существа. С тех пор он стал бояться встретиться с ней взглядом. Казалось, ее царственный взгляд уничтожит его, испепелит. Он довольствовался созерцанием ее королевской осанки и рассыпавшихся по плечам волос, похожих на листву осенних кленов. Под черной, отороченной множеством кружев, блузкой и длинной, с пышными складками черной юбкой угадывалось стройное, гибкое тело, которого, должно быть, никогда не касались солнечные лучи. Или его рисовало лишь пылкое воображение? Тонкие, белые пальцы сжимали концы черной паутинки-шали; широкие кружевные манжеты ниспадали, обнажая гибкие, унизанные браслетами, белоснежные запястья; от ветра шаль развевалась за плечами, подобно крыльям. Огненные волосы и широкие черные одеяния, взметнувшиеся в порывах ветра, навстречу которому она стремилась, делали эту женщину похожей на летящую птицу. Поистине она была либо ангелом, либо демоном.

Главное, она совершенно не походила на окружавших Егора девчонок. Конечно, он мог любоваться стройными ножками или смазливими мордашками признанных красавиц их класса. Точно так же он мог любоваться хорошеньким пуделем или мчавшимся мимо дорогим автомобилем. Егору никогда бы не пришло в голову посвящать этим девчонкам стихи. Да они и не стали бы слушать. Их мир был ограничен дискотеками, дворовой тусовкой, пустыми приколами. Меж тем многие одноклассники уже с кем-то встречались. Кто-то хвалился модельной внешностью своей подружки, кто-то делился с приятелями пикантными подробностями своих походов. Егор не вступал в такие разговоры. У него была своя тайна, которая, как ему казалось, могла оскверниться от соприкосновения с обыденностью. Эта женщина принадлежала другому миру, и он мечтал когда-нибудь вступить в этот мир, как полноправный его житель. Прежде это был только мир его грез, детских фантазий, наивной

отроческой поэзии, романтических образов, рождавшихся в бессонной ночи. Теперь появилось живое воплощение этого мира.

...Незнакомка шла по берегу моря, неся в руке босоножки. Ее тонкие стопы утопали в песке. Егор ускорил шаг. Кажется, она ощутила его присутствие. Сейчас она обернется и посмотрит на него. Что тогда будет? Сердце бешено колотилось. Но он не отступал. Она действительно обернулась и посмотрела на него. В ее огромных зеленых глазах были проникающая в самую душу мудрость и дерзкое безумие, игривая веселость и глубокая печаль, а главное — власть. Вопреки ожиданиям, этот взгляд не уничтожил, а, напротив, дарил жизнь. Это был взгляд королевы на своего подданного, являвшегося ее безраздельной собственностью. В нем читалось: «Следуй за мной». Вскоре они так же молча шли по берегу, взявшись за руки. Неужели это не сон? Ведь такого не могло произойти наяву. Его заоблачная мечта, «небожительница» держит его сейчас за руку. Как же пьянит излучаемый ею сладковато-пряный аромат, напоминающий о восточных сказках! А море искрится в лучах восходящего солнца. Только бы эта греза не рассеялась в предутреннем тумане...

Тамара знала, что в таких, как она, влюбляются с первого взгляда. Она привыкла спиной чувствовать на себе страстные взгляды. Она знала также, что черный цвет очень сексуален, что созданный ею образ романтичен, загадочен, что тайна способна «завести» мужчину похлеще любых мини-юбок и голых пупков. Ей вовсе не были нужны похотливые взгляды примитивных самцов, скользящие по женским прелестям. Она была нацелена на мужчин другого сорта — поэтов, художников, мистиков. Впрочем, по большому счету, ей давно никто не был нужен. Просто она привыкла очаровывать. В последние несколько лет Тамара делала это как-то по инерции. Она заметила, что всякий раз разыгрывается один и тот же сценарий. И он уже не пробуждал в ее остывшем сердце ни малейшего трепета.

Вот они взялись за руки. Сейчас юноша крепче сожмет ее кисть. Потом проведет пальцами по ладони. Затем ей в глаза будет устремлен долгий завороченный взгляд. Последует поток восторженных слов. Здесь уж каждый изощрялся в меру своего вкуса, интеллекта, поэтичности мировосприятия. Тамара оказывалась похожей то на лесную колдунью, то на недостижимую Афродиту, то на королеву неведомых стран, то на инопланетянку, то на фею. Интересно, какими эпитетами наделит ее этот юный поэт? Пока что он молчит. Для него словно бы остановилось мгновение абсолютного блаженства. На его красивом лице застыла глупая, счастливая улыбка. Идет он быстрым, широким шагом, но при этом как бы находится в оцепенении, совсем не машет руками. Плечи застыли в каком-то одном неуклюжем положении. Однако сквозь подростковую угловатость улавливается особая грация. Широкая черная футболка и черные джинсы подчеркивают аскетическую стройность юношеского тела. (С недавнего времени парень решил, что и ему идет этот цвет). Тамара переводит взгляд на лицо своего спутника. Волосы откинута с высокого бледного лба. Густые черные брови, сходящиеся на переносице, длинные ресницы, тонкий, с горбинкой, нос, выпирающие скулы. Что все это ей напоминает? Что неуловимое в улыбке этого юноши так встревожило ее душу? В сердце пробуждался образ, давным-давно загнанный вглубь подсознания, образ, которому она никогда не позволяла всплывать в памяти и тревожить сознание. «Да он же похож... — шевельнулось в голове.— Нет, не может быть!»

Но предательница память уже воскресила сцену восемнадцатилетней давности, когда Тамара, наивная, влюбленная девчонка, шла по этому же самому берегу с таким же чернобровым красавцем и сама при этом глупо и счастливо улыбалась. Тогда она была живой. Чувства, желания, открывающийся перед нею неизведанный мир, ее первая любовь, улыбающееся им двоим солнце — все было настоящим...

Ее неожиданную грезу о прошлом прервал Егор. Он осторожно коснулся рукой шрама на ее шее и вопросительно посмотрел ей в глаза. Она скривила губы в злобной усмешке...

Обычно Тамара разрывала отношения после первого же, совместно проведенного, вечера. Просто не являлась на назначенное свидание. Но в этом случае она решила изменить своим обычаям, проявив себя интересной собеседницей. Егор обнаружил, что с Тамарой можно говорить о современной музыке и о древних цивилизациях, о строении вселенной и о самых сокровенных движениях собственной души. Он все еще видел в ней существо другого мира. Но вместе с тем надеялся, что и сам начинает принадлежать этому миру. А, вернее, что тайный мир его грез и ее мир могут оказаться единым пространством. Тамара стала первым человеком, которого Егор впустил в свою душу. Он даже собирался доверить ей самое сокровенное — свой дневник.

Спустя несколько дней после знакомства он пригласил свою даму в гости...

Уже более семнадцати лет Тамара не переступала порога этой квартиры. Приходящая, как будто, изменилась: стены оклеены новыми цветастыми обоями, на двери красуется календарь с забавной кошачьей мордой. Только по-прежнему пахнет жареным луком.

— Мам, пап, у меня гость, — с порога крикнул Егор.

Послышались тяжелые шаги. Из комнаты вышел сонный дядечка в полосатой пижаме. Хотя в течение всех этих лет Тамара время от времени видела Игоря на улице, но всякий раз это происходило лишь издали, мельком. Теперь бывший возлюбленный предстал перед нею нос к носу. Тамара тщетно силилась отыскать в этом облысевшем, обзаведшемся пивным животиком и двойным подбородком сорокалетнем субъекте те черты, которые когда-то так трогали ее сердце. Даже в глазах, являющихся, как известно, отражением самой личности, не было уже той зажигательной, дьявольской искры, которая когда-то повергала Тамару в сладостный трепет. Теперь это были выцветшие, пустые глаза. Лишь в уголках губ улавливалось что-то, напоминающее прежнюю обольстительную улыбку. Только с годами она превратилась в отвратительную ухмылку бывалого развратника.

Игорь не узнал Тамары. Ее черты лишь на мгновение пробудили в его сонном мозгу какие-то смутные, далекие образы, которые он не успел осознать. На поверхности сознания лишь мелькнула мысль: «Егоркина девчонка постарше его будет. Ну, да это ничего. У меня самого были бабы и моложе, и старше, и блондинки, и брюнетки, и стройненькие, и пухленькие. В жизни надо все испытать». И он самодовольно хмыкнул.

Вслед за Игорем в прихожую вышла его жена Наталья в бигуди и бесформенном коротком халате, делавшем ее фигуру квадратной. Из-за неприкрытой двери послышался нудный диалог героев сериала. Наталья вылупила на Тамару свои круглые глаза и часто захлопала наклеенными ресницами. Узнав в девушке сына бывшую подругу, она была явно в шоке. Но как человек рациональный, решила ничего не предпринимать и даже не высказывать своего открытия, пока не выработает плана действий. В ответ на приветствие гостыи она сквозь зубы выдавила «Здравствуйте».

Тамаре вдруг сделалось смешно. «А ведь я в свои тридцать пять лет могла превратиться в такую же квочку, как Наташка, моя бывшая одноклассница. Быть сейчас женой этого скучного жирного дядьки, стирать его носки, с утра накладывать себе на лицо три слоя пудры (как бы не разлюбил!), а вечерами сидеть с ним у телевизора и радоваться своему «женскому счастью». Разве не об этом я когда-то мечтала?»

Оказавшись в маленькой Егоровой комнатке, Тамара чуть не забыла, что находится во «вражеском лагере». Даже запах здесь стоял другой — свежий, весенний. Сквозь дымку лилового тюля в окно проникали солнечные лучи. Они скользили по полкам с книгами и дисками, по заваленному бумагами письменному столу. Егор взял в руки гитару, затем снова поставил. Он волновался, не решаясь начать разговор.

— Знаешь, Тамара, — заговорил он сбивчиво, — *им* ты, кажется, не понравилась. Но мы решим эту проблему.

— Каким же образом? — спросила она.

— Я взрослый человек,— Егор нахмурил брови.— Мне уже шестнадцать лет. Я сумею отстаивать свои права. Я свободный взрослый человек,— повторил он еще раз, стараясь придать голосу максимальную твердость.

Тамара иронически улыбнулась, и Егор смутился, почувствовав, что снова сказал что-то детское. На мгновение женщина ощутила прилив нежности к этому мальчику. Но вспомнила, что не должна позволять себе расслабляться.

— Егорушка,— проговорила она снисходительно,— человек в принципе не может быть свободен. Над ним всегда довлеют обстоятельства, условности, даже собственные желания.

— Но сильный человек преодолет обстоятельства и наплюет на условности,— решительно сказал Егор.

— Тебе ли рассуждать о свободе, когда ты весь во власти своих чувств? Ты ведь не можешь победить свою страсть,— значит, не свободен от нее.

Егор на секунду задумался.

— Но я не хочу побеждать свою любовь. Я хочу любить.

В эту минуту Тамара глядела поверх его головы. Вдруг глаза ее загорелись каким-то злобным, демоническим блеском, а губы принялись кривиться, поминутно меняя выражение от смешливого до скорбного, от воинственного до отчаянного.

— Что ж, наслаждайся своими чувствами, если сам не хочешь стать сильнее их. Но меня ты больше не увидишь.

— Почему?!

— Потому что в этом мире,— мертвым голосом проговорила Тамара,— происходит не только то, чего хочешь ты. Мы можем властвовать над собой, но не над окружающим миром. Человек не свободен уже в том, что его производят на свет и помещают в этот чужой мир, не спрашивая его согласия. А по-настоящему свободный человек способен сам распорядиться жизнью, как своей собственностью, и уйти, когда пожелает сам...

В тот вечер в квартире Тамары раздался резкий звонок в дверь, сопровождавшийся стуками и бранью. Не успела она отворить, как прямо в комнату ворвалась разъяренная Наталья. Теперь бывшая подруга не утруждалась скрывать своих эмоций и прямо с порога завопила:

— Оставь в покое моего ребенка, гадина!

— В покое? — усмехнулась Тамара.— Скоро он обретет вечный покой.

Страшные догадки мелькнули в голове Натальи. На ее лице отразился ужас. Несколько долгих мгновений она стояла в оцепенении. Затем еле слышно прохрипела:

— Если с Егором что-то случится, я убью тебя!

— Убьешь? — Тамара рассмеялась дьявольским смехом.— О, меня нельзя убить,— проговорила она медленно, и глаза ее загорелись безумием.— Нельзя, потому что я уже мертва. Я убила себя семнадцать лет назад. Считай, что перед тобою — призрак. Ты говоришь о своем ребенке. Но разве не ты убила моего? Вспомни, Наташа, той осенью, когда Игорь уехал в Москву, в свой институт, я только тебе одной, своей лучшей подруге, призналась, что жду от него ребенка. Сперва меня убило твое предательство, когда ты написала ему то мерзкое письмо, обливая меня невесть какой грязью. Это ж надо было такое выдумать? Тамара, стало быть, шляется со всеми парнями нашего района. А потом... Потом меня добило его предательство, когда он поверил тебе, а не мне. Как же? Наташа — такая честная, правильная. Ты рассчитывала войти к нему в доверие и не прогадала. Утешения он пошел искать в твоих объятиях. А через месяц повел тебя в ЗАГС. Тебя даже не смутило, что он делает это лишь назло мне. Как я могла жить дальше, зная, что нельзя верить ни в любовь, ни в дружбу?! Два самых близких человека, любимый парень и лучшая подруга, умертвили меня! Пусть меня нашли тогда с ножом в груди, истекающую кровью и увезли в

реанимацию, спасти удалось только мое тело. Моя душа погибла вместе с моим ребенком, который умер, не успев родиться. Теперь умрет твой сын! — последнюю фразу она прокричала с бешеной ненавистью.

Потерявшую чувство реальности Наталью ноги сами привели домой. Они с Игорем обзвонили всех Егоровых знакомых и целую ночь не отходили от телефона. Сын ночевать не пришел.

Тамара тоже не спала в эту ночь. Ее месть свершилась! Она ликовала, предчувствуя страдания своих врагов. Страдания, выжигающие сердца. Такие адские муки когда-то выжгли дотла ее собственное сердце.

Лишь под утро тонкий сон смежил ее веки.

Меж тем комната начала медленно преобразовываться, озаряясь светом. Сквозь розовые шторы пробивались золотые солнечные лучи. Радостное утреннее солнце словно утверждало жизнь и любовь ко всему живому. Вдруг вместе с косыми лучами в комнату сквозь шторы проскользнуло лучистое, полупрозрачное существо. Это оказалась маленькая девочка с золотыми кудряшками и большими голубыми глазами. Облачена она была в воздушное белое одеяние, похожее на античное. За спиной ее виднелись прозрачные крылья. Легкая, невесомая, девочка напоминала ни то эльфа, ни то ангела.

— Кто ты, дитя? — спросила Тамара, почему-то несколько не смутившись появлением крылатой гостьи.

— Я твоя дочь, — серебристым голосом ответила девочка.

Тамара вгляделась в детские черты, показавшиеся ей знакомыми.

— Дочка... — проговорила она задумчиво. — Тебе сейчас было бы семнадцать. Интересно, как бы я тебя назвала?

— К сожалению, у меня нет имени. И возраста я не имею. Но и для таких, как я, не все потеряно. Я пришла сказать, что простила тебя, мама. Теперь я иду к Свету. Моя судьба не так уж страшна. Страшнее всего прийти *туда* самоубийцей. Поэтому ты должна остановить Егора. Не убивай снова! Беги к нему, пока не поздно!

— Но я не знаю, где он.

— В старом гараже.

Радужные лучи заполнили собою все вокруг. Это солнце коснулось полуприкрытых Тамариных ресниц. Женщина подняла веки. В комнате было совсем светло. У окна уже никто не стоял. Лишь слегка колыхалась розовая штора.

Тамаре был отлично известен старый гараж, бывший когда-то местом их тайных свиданий с Игорем.

...Она окликнула Егора, когда он вскрывал вену на второй руке. Он поднял голову и в следующий миг потерял сознание. Она достала мобильник и набрала 03...

— Бедная Тамара! — еле слышно проговорил Егор, придя в сознание в карете скорой помощи. — Разве можно так ненавидеть людей?! Как же ты живешь с этой ненавистью?!

Медленно он поднял отяжелевшие веки. И почему она прежде не замечала его глаз? Это были не страстные, чарующие глаза Игоря, и не быстрые, хитрые глаза Натальи. Янтарно-карие, глубокие, печальные — это были его собственные глаза. Сейчас в них сквозила мудрость человека, познавшего тайны жизни и смерти. Они заглядывали в самую душу. У Тамары не было сил смотреть в эти глаза. Она отвела взгляд и принялась суетливо тереть свой рыжий локон.

— И почему мне тогда встретился не ты? — проговорила она, нервно кусая губы. — Может быть, я именно тебя ждала, а не его.

— Поначалу ты казалась мне феей, а твой мир — сказкой, — вновь тихо заговорил Егор. — Потом мне открылось, что твой мир — одна лишь пустота, и под маской феи — тоже пустота. А теперь я вижу: что-то в тебе все-таки было. Наверно, трагедия.

Иван Беляев
(г. Узловая)



А ГДЕ ЖЕ ШАШЛЫК?!

Иногда чиновникам работа надоедает так, что им хочется бросить все, выехать куда-нибудь на природу и отвлечься от всего на свете. А когда они работают уже давно в одном городе, то таких «мучеников» много может набраться одновременно,

Кто был инициатором их сбора в один из летних дней — я не помню. Но компания из восьми высокопоставленных чиновников собралась. И все решили выехать подальше от города, в лес. Что было необходимо, припасли и поехали на двух легковых автомобилях. Облюбовав на горизонте вырисовывающийся небольшой лесок, свернули с автомагистрали и поехали к нему по грунтовой дороге. Не доехав до него несколько десятков метров, увидели, как из леса выбежала лиса, а за ней тут же вышел старик-охотник с двухствольным ружьем. Остановились и у него спросили:

— Ты, дед, хочешь догнать лису?!

— Я ж подранил ее — далеко не убежит.

— Как ты определил, что она ранена?

— А вы посмотрите: вот капли крови видны,— ответил охотник. Пока проговорили несколько минут, лиса скрылась в недалеке росшем кустарнике. Один из компании спросил у охотника?

— А разве летом охота на лис разрешена?

— Да взбесились лисы-то и даже на людей нападают,— ответил дед.— Пришло указание: «Отстреливать лис». Ну я пойду: а то она уйдет куда-нибудь.

— Ты посмотри, как лиса побежала резво — тебе не догнать, наверно, ее,— сказал чиновник, возглавляющий компанию.— Оставайся с нами, в лесу: у нас нет оружия, а здесь, возможно, еще есть бешенные лисицы...

— Я что ж обязан вас охранять? — спросил дед.

— А мы уплатим тебе. Да и у нас есть что выпить и закусить. Испечем шашлык.

Отдохнешь с нами и заодно поохранишь нас,— сказал чиновник.

Дед почесал затылок и с хитрой улыбкой на лице промолвил:

— Шашлык-то, небось, долго ждать придется?

— Да мы тебе нальем под холодные закуски,— ответил чиновник.

— Ну что уж там — остаюсь,

На небольшой полянке, под шатром раскидистых, плакучих берез, был расстеленный чистый, светло-серого цвета брезент. На нем размещены разнообразные, холодные закуски: огурцы, грибы, помидоры, рыба, консервы, колбасы, окорок и даже икра кетовая. Все это своими красками (вместе с брезентом) гармонировало с ярко-зеленой травой поляны. Глядя на эту красоту, у любого человека мог обнаружиться аппетит. Ну а если уж у сытого, то — желание отведать всего понемногу.

А дед-охотник, побегавший за бешеной лисой с самого утра (время шло к по-

лудню), порядком проголодался и, увидев всю эту еду, о которой мог лишь мечтать, при своей мизерной пенсии, да еще прочитав название водки которую не пил сроду, он в нетерпении схватил стаканчик и брезгливо посмотрел на него.

Разливающий водку чиновник спросил?

— Ты чем недовольный, дедуля?

— Да разве я распробую вашу водку таким стаканчиком,— ответил дед.— И не пью я такими стаканами.

Разливающий передал стаканчик чиновнику, сидящему рядом с дедом, а ему налил чуть неполный «малинковский» стакан.

Дед пытливый взглядом посмотрел на всех присутствующих, про себя посчитал их и, крикнув, одним махом, осушил стакан, и стал с неохотой, вяло, закусывать самыми простыми закусками.

— Ты почему так плохо ешь, дедушка? — спросил чиновник,— Или недоволен закусками?

— Закуски у вас отменные, но я без картошки не сажусь за стол,— сказал старый охотник и дополнил: — Да и не привык позволять себе такую роскошь, как ваша еда.

— Ну уж извини: картофеля не будет, но шашлыком непременно закусим,— сказал чиновник.— А сейчас выпей-ка еще для аппетита и ешь все подряд, устрой себе праздник!

И деду вновь был налит чуть неполный стакан. Его он опорожнил, после чего закусывал более активно. А когда налили третий стакан — он подумал: «Живут же люди, не то что мы...» И вновь пересчитал сидящих в застолье. Ему пришло на ум: «Почему их семь человек? При встрече было восемь. Я что уже пьяный? Или со мной было восемь?...» Но стакан он выпил: уж очень ему понравилась чиновничья водка. А чуть закусив, дед-охотник встал, взял в руки ружье (все подумали, что он будет их охранять), взвел курки, направил стволы на сидящих и громко скомандовал:

— Всем руки вверх! И не вставать! При попытке встать, буду стрелять! Ружье заряжено крупной картечью.

Все были ошарашены таким «выкидоном» деда, но руки подняли дружно. Каждый из них, наверно, подумал: «двух может уловить — а вдруг меня...»

А дед со спартанским спокойствием переводил стволы ружья с одного на другого чиновника — при этом, с выражением превосходства на лице, приговаривал:

— Вот там вас, б...й! А то понаехали сюда жировать.

— Ты, дед, с ума сошел что ли?! — спросил один чиновник.— Прекрати сумасшествывать!

— Я те... покажу какой я сумасшедший! — крикнул дед, направив ружье на чиновника.

И тот, поперхнувшись от желания скоротечно сгладить свое высказывание, скороговоркой зачастил:

— Ну и умник! Ну и умник! Ну и умник, дед!

А он, направив ружье на очередного чиновника, спросил:

— Ты кем работаешь, жирная тварь?!

И чиновник, всего лишь средней упитанности, от такого оскорбления раскрыл рот, но вымолвить ничего не смог, потому: что кроме выше сказанного, он увидел, что сзади к деду ползком крадется тот, кто был оставлен для подготовки жара в костре, чтобы испечь шашлык. Когда он дополз близко к деду, то мгновенно встал, схватил деда за плечи и опрокинул назад.

Старый охотник успел нажать на один спусковой крючок, но выстрел произошел в воздух, поверх голов сидящих чиновников. Они, испуганные и обозленные, бросились к деду, ружье отняли, слегка наломали бока, по все же пожалели старика, хотя для острастки еще и связали. А сами после такого происшествия, могущего обер-

нуться катастрофой, решили уехать домой — погасили костер, все собрали, у деда изъяли все патроны, но ружье оставили, развязали его, убедились, что может идти и спросили:

— Ты домой-то дойдешь?

— Дойду, дойду! — ответил дед и обиженным тоном спросил:

— А где же шашлык?!

БЕСПРИЗОРНИК

Редкий, молодой, сосняк. Лет шестнадцать назад это было плодородное поле: у рытвин виден жирный чернозем. Но, увы, издержки нашего времени не дали возможности крестьянам возделывать здесь сельхозкультуры. Но грибов, при своевременных дождях, хоть коси. И в этот грибной год я своевременно приехал сюда: маслята молоденькие, пока без червей, так и прут из-под травы вокруг сосенок. Кто ездил, ходил по грибы, тот знает, что такое войти в азарт по грибной охоте. И чаще всего, когда уже тебе пора уходить, грибы чуть ли не сами лезут в лукошко. И ты увлекаешься, и забываешь посмотреть на часы, чтобы оторваться, и вовремя прийти к остановке. Так в этот день было и со мной: когда я пересилил этот дурман, до поезда оставалось сорок минут. За это время сюда порожняком не доходим — пришлось, скрепя сердце опорожнить ведро на видном месте, у начала дороги к остановке. И с одним лишь загруженным рюкзаком, с мелкими перебежками, весь в мыле, я все-таки успел к поезду, когда он остановился на остановке. Он ходит здесь один раз в сутки. А то, что я не ел с раннего утра, — вспомнил только в вагоне.

Из рюкзака устроил стол и выложил на него свои припасы. И здесь я почувствовал на себе пронзительный взгляд. Оглянувшись, увидел мальчишку, выглядывавшего на меня из-за спинки соседней скамьи. На вид ему не больше десяти лет. Взгляд голодного, уставшего, обозленного и вместе с тем застенчивого ребенка подсказал мне, что его необходимо накормить. И, к нашему с ним счастью, жена собирает мне тормозок из расчета на завтрак и обед. Я, не раздумывая, пригласил парнишку к себе:

— Парень, иди-ка сюда!

А он, глянув на меня недоуменным взглядом, не тронулся с места, только оглянулся назад, предполагая, что я обращаюсь к кому-то другому.

— Тебя, тебя, паренек, зову! — я повторил приглашение.

Мальчишка, пожав плечами, встал, подошел и спросил:

— Что надо?!

Меня ошарашил такой грубый вопрос, но я спросил:

— Как тебя зовут?

— Иваном, — с пренебрежением отстал мальчик.

— Да ты ж мой тезка. Сядь, поешь со мной, Ваня!

Мое приглашение еще больше смутило паренька — он смотрел на меня пытливый взглядом, на его глазах показались слезы... И, чего я не ожидал — вдруг, заикаясь, отказался:

— Не на-д-до, н-не хо-чу!

Я, удивленный, взял его за плечо и посадил рядом с собой.

— Не обманывай, Ваня! Я вижу: ты голодный. А у меня еды за глаза нам с тобой хватит. Садись! Садись!

И как он ел... с какой жадностью... Я убедился, что он голодный — все вопросы отложил до тех пор, пока он не насытится. А когда из термоса налил ему кружку чаю — спросил:

— Далеко тебе еще ехать, Ваня?

— Не знаю. Мне добраться бы до Тулы,— ответил он.— А как далеко — я не могу себе представить.

— Это не очень далеко: часа четыре езды. Но пересадка в Узловой, а там, по моему, в вечернее время поездов на Тулу и нет — только если ехать «Газелью»,— сказал я.

— А какая стоимость проезда? — спросил он.— У меня денег мало.

— «Газелью» — пятьдесят рублей,— ответил я.— Пей чай! А то остынет.

У Вани вид грустный. Он прихлебнул из кружки чай и с раздражением сказал:

— Опять ночевка на вокзале или где-нибудь у забора и, возможно, объясняться с ментами...

— А кто у тебя в Туле? — спросил я.

— Тетя и отчим,— ответил Ваня и уточнил: — Тетя спилась — алкашка, а отчим женился на другой тетке, после смерти мамы.

— Да!.. Печальная у тебя история,— заключил я и спросил: — А к кому ты поедешь?

— Поеду к тете: все-таки родной человек,— ответил Ваня.

— А откуда ты едешь? — опросил я.

— Из детдома, а с какого — не скажу!

— Тебя отпустили или ты сбежал?!

— Сбежал. Невмоготу стало: кормят плохо, воспитатели бранятся и чуть что лупят — насилу перешел в четвертый класс.

— Это почему ж так? — спросил я.

— Сидишь за уроками, а все думаешь об обеде...

Я додумал: «Дожили: не могут в детдомах детей накормить досыта...» Посмотрев на меня, задумавшегося, Ваня спросил:

— А вы с кем живете?

— Вдвоем с женой,— ответил я.

— Взяли бы меня к себе! — со слезами на глазах выпалил Ваня.

— Мы ведь уже пожилые — нам не разрешат тебя усыновить,— ответил я.— А дети у меня есть и внуки тоже.

— Но теперь вы живете одни — я был бы вам постоянным помощником до конца своих дней,— всхлипнув, сказал Ваня.

— Ты, Ваня, прекрасный ребенок — найдутся еще хорошие помоложе люди и усыновят тебя,— успокаивая парнишку, сказал я.

Хотел на ночь взять его к себе домой — он, как ножом обрезал, отказался. Мы простились, оба сожалея, что, наверно, не увидимся в этой тяжелой и единственной жизни.

Где он теперь? — Не знаю. Дай, Бог, ему счастья и покоя!..



Алина Филатова
(г. Тула)



КОГДА-НИБУДЬ — ЭТО СЛИШКОМ ДОЛГО...

Утро. Солнечное, зимнее утро. Он встал, потянулся и подошел к окну. Последний день уходящего года, а столько много нужно сделать. Успеть все, что не сделал за год. Оброс, нужно побриться, даже дважды. «Утром и вечером, перед тем, как увижу Бонни. Она любит, когда я гладко выбрит. Вечером пойду к Боне, надо зайти и купить ей подарок. Что же ей подарить? Не помню, что она хотела». Он умылся, посмотрел в зеркало, на кухне часы пробили десять. Пора. Еще нужно зайти в бар, поздравить бармена. Ему будет приятно, хороший парень. Существуют же люди, которым просто хочется делать приятное, жаль, что я не принадлежу к их числу. Эта мысль его развеселила, и он улыбнулся своему отражению в зеркале. По пути из бара зайду к маме, куплю ей цветы. Мама любит цветы, особенно маргаритки. «Где же мне найти маргаритки в конце декабря? Ладно, что-нибудь придумаю». Он застегнул пальто, положил ключи в карман и вышел из подъезда. Утро было по-настоящему зимним. Легкий морозец щекотал его щеки, солнце слепило глаза. Ветра не было. Снег хрустел под его ботинками. У него не было зимних ботинок, он ходил в осенних, поддевая шерстяные носки, но это не всегда спасало от холода. С недавних времен зимы стали не такие холодные, как раньше, и ему это нравилось. Только было неприятно, когда в Новый год, вместо белых сугробов, из окна виднелись массы грязного, серого снега. Такая погода совсем не располагала к празднику, к главной ночи всего года. Это был хороший год, подумал он, приподнимая воротник. Спокойный. Нужно не забыть зайти в булочную и поздравить старушку. «Она милая, к тому же у нее никого нет, ей будет особенно приятно мое внимание»,— размышлял он. К остановке подъехал автобус, нет, пожалуй, пройду пешком, это полезнее. Пешком до площади всего пятнадцать минут ходьбы, и по дороге много сувенирных лавочек и магазинов, там и что-нибудь подберу Бонни. Бонни нравятся собаки. «Имя у меня, впрочем, как и жизнь, собачье. Люблю собак, они милые, добрые. В отличие от кошек, те слишком независимые, а в наше время это скорее недостаток. Мне вот, например, хочется от кого-то, или хотя бы от чего-то зависеть» — говорила ему как-то Бонни, потягивая свой martini. Она еще любит martini. Куплю сегодня бутылочку martini, вместо шампанского, она обрадуется. Ей не нравится шампанское.

Зайду еще в кофейню, поздравлю патрона. Он не раз угощал меня капучино. У него самый вкусный капучино в городе, и еще шоколад. Кофе и шоколад. Нет сочетания правильнее и лучше. Они дополняют друг друга, во всем. Цвет, терпкость вкуса, иногда даже и аромат,— схожи. В детстве я ненавидел шоколад. Он был слишком горьким для меня. Сейчас... Сейчас он кажется таким сладким по сравнению с моей жизнью. Даже если в нем 90 % какао. Все познается в сравнении. Такова жизнь.

Он купил Бонне собаку. Маленькую, керамическую собаку. По-моему это спани-

ель,— сказала ему продавщица. Она говорила с акцентом. Наверное, немка, подумал он. Молоденькая, симпатичная. Может позвать ее со мной? Нет, наверняка откажется!

Он шел по замощенной плиткой аллее. Бар находится за углом. Еще пару метров, и он на месте. Может, что-нибудь заказать выпить? Нет, ведь еще только утро. Нельзя пить утром. Да, и Бонни это не понравится. Ведь он не остановится на одной рюмке. За первой последует вторая, потом третья и так далее. Нет, он не будет пить. Сегодня такой замечательный день, такое красивое, снежное утро. Солнце еще не потеряло красновато-бурый оттенок. Это приятно. Ему вообще нравились все оттенки красного. Они удивительно поднимали ему настроение. «Когда у меня будет своя квартира, я сделаю все комнаты красными. Гостиная, кухня, спальня — будут красными, или бордовыми», — мечтал он.

В баре было немногочленно. За столиком около окна сидел джентльмен, уже изрядно подвыпивший. Вряд ли он трезвел со вчерашнего вечера. Еще несколько ранних посетителей: два молодых человека и девушка, расположились в мягком уголке, недалеко от барной стойки. За стойкой, на своем месте, стоял бармен и протирал стаканы. Делал он это машинально, не придавая своему занятию ни какого значения. Сжатое в кисти руки полотенце скользило по стеклянным, хрустальным, керамическим поверхностям. Бармен курил. Он курил самые дешевые сигареты, которые можно было найти. Даже их дым пах дешево, не натурально. Купил бы он сигареты всего на пару центов дороже, то ощущения были бы гораздо приятнее. Что такое пара центов, по сравнению с удовольствием, полученным от вкуса хороших сигарет?! А еще лучше сигары. Настоящие кубинские сигары. Ароматные, терпкие на вкус, в них важен сам процесс. Густые клубни приятного дыма, щекочут ноздри.

— Когда же ты переедешь на сигары? — спросил он, присаживаясь за барную стойку.

— Может быть, когда женюсь. Тогда я буду сидеть в тяжелом махровом халате на кресле-качалке, и курить сигару. Моя жена принесет мне чашку крепкого черного кофе, без молока, и сядет рядом со мной, чтобы рассказать, как провела день.

— Ты хочешь жениться? — удивился он.

— Хочу. Это же так приятно, возвращаться в уютный дом, где тебя кто-то ждет. Вот тебя кто-нибудь ждет?

— Нет.

— И меня нет! — огорченно ответил на свой же вопрос бармен.

— Закажешь что-нибудь?

— Нет, мне уже пора. С Новым годом тебя. Надеюсь, что в Новом году, ты женишься, раз уж ты так этого хочешь.

Бармен улыбнулся. «Ему приятно!» — подумал он и тоже улыбнулся в ответ.

По дороге в кофейню, он задумался. «А ведь бармен прав! Дома меня никто не ждет... Хочу ли я, чтобы меня кто-нибудь ждал? Наверное, когда-нибудь мне будет это нужно».

Кофейня находилась всего в пару кварталах. Хочется кофе с шоколадом. Куплю плитку горького шоколада и чашку сладкого кофе. Это будет мой завтрак. Он никогда не ест рано утром, не раньше полудня. Он вообще мало ест. Любит овощи и мясо, иногда ест рыбу, не часто, но больше всего любит сыр.

Аромат кофе покинул пределы кофейни и распространился по всей улице, так, что его терпкий аромат можно почувствовать еще за углом. Входя в кофейню, он полной грудью вдохнул запах смешанных ароматов.

— Здравствуйте, приятно, что в этот праздничный день вы все-таки не забыли про нас, — сказал патрон, добродушно улыбаясь.

— Как же я могу в такой-то день нарушить столь приятную традицию, и не выпить чашечку капучино с шоколадом.

— Традиции, даже самые малые, незначительные на первый взгляд, нужно соблюдать. Знаешь, когда я был молод, мне казалось, что все эти традиции — сплошная чушь! Родители заставляли меня каждое Рождество ехать в пригород, в дом семьи, и встречать праздники с многочисленными родственниками, средний возраст которых составлял лет пятьдесят! Страшнее наказания для меня, на тот момент, не было. Хотелось чего-то нового, другого, разного. С таким убеждением я и прожил много лет, но однажды, когда скончались мои родители, я понял, как сильно мне не хватает обычных, привычных моментов в жизни. Может, я просто устал?! Не знаю... Теперь, когда дети и внуки приезжают в мой дом на рождественские праздники, я понимаю, что в постоянном, даже в чем-то банальном, и заключается человеческое счастье.

— Я уже давно не встречал Рождество с семьей,— сказал он, отломив кусочек шоколада.

— Это плохо, мой мальчик, нужно что-то менять,— сказал патрон укоризненно

Завтрак кончился. Он вышел из кафе, и направился в центральный парк. Там продавались лучшие цветы в городе. Сотни свежих, разноцветных букетов покоились в напольных металлических вазах, под магазинными навесами.

— Может, действительно нужно что-то менять? — размышлял он. Его жизнь не была такой яркой и разнообразной, как ему хотелось. Практически каждый день имел свое отражение в следующем. Те же дела, те же люди, те же обстоятельства. Иногда ему хотелось перемен, хотелось даже риска. Но он боялся. Не каждый способен рискнуть, не каждый сможет принять получившийся результат. Если все сложится не так, как вы этого хотели, найдете ли тогда правильный выход из запутанной ситуации? Он не знал ответа на этот вопрос. Следовательно, он не мог позволить себе рискнуть.

Цветочный базар разместился по всему периметру, вдоль парковой ограды. Зрелище было действительно завораживающее, от количества цветов рябило в глазах: синие, красные, желтые, алые, бардовые. Яркие пятна чрезвычайно выделялись на фоне белого снега. Было красиво. Он обошел каждую торговую палатку, но маргариток нигде не продавали.— Мама расстроится, она так любит маргаритки! — отчаянно сказал он вслух.

— Я не... нечаянно подслушала вас... Вам нужны маргаритки? — слегка заикаясь, спросила у него пухленькая невысокая женщина лет пятидесяти.

— Да, а Вы знаете, где их можно достать?

— Я их вы...выращиваю, для себя, но если в...вам так они нужны, д...думаю я смогу найти парочку лишних букетиков,— улыбаясь, ответила женщина. Милая. Надеюсь, что у нее действительно есть маргаритки, — подумал он про себя.

Женщина привела его в небольшой домик, расположенный в спальном районе города. Дом был выкрашен в светло бежевый цвет, как и все типичные близлежащие дома 60-х годов двадцатого столетия. Почему-то мало кто решался перекрашивать свои дома в другие цвета. Может, во всем виновата присущая людям типичность? Боязнь через, чур, сильно выделяться из общей массы? Я бы выкрасил дом в синий цвет. Ближе к небу,— подумал он. К дому прилегал маленький садик, с декоративным фонтаном. Существование фонтана заметно выделяло его из серой соседской массы, и придавало столь милую индивидуальность.

— Пройдите, п...пожалуйста, в дом, пока я б...буду набирать вам б...букет,— предложила женщина. Он не хотел задерживаться здесь надолго, еще слишком многое нужно успеть, но отказывать столь милой даме, было как-то неловко. Представляю, как мама обрадуется маргариткам. Эта мысль согревала его, ему искренне хотелось верить, что столь маленькие цветы, заставят его мать лишний раз улыбнуться.

Гостиная также ничем не отличалась, от обычных гостиных того времени. Лишь многочисленные настенные фотографии придавали ей особый колорит. Он с интересом разглядывал черно-белые снимки. Большое количество самолетов, мужчин в военной форме, фигурировали на портретах.

— Это мой отец,— сказала женщина, протягивая букет маргариток.— Он был в...военным летчиком в первой м...мировой войне. Там он и погиб. По этим ф...фотографиям мать мне и рас...рассказывала о нем. Я родилась через полгода после его смерти.

Он взял маргаритки.

— А кем был ваш от...отец? — спросила женщина.

— К сожалению, я не знаю, но очень хочется верить, что он был не таким, как описала мне его мать. Сколько я вам должен за маргаритки.

— Вы что! Какие д...деньги. Это вам к пр...празднику.

— Но, ведь я вам совершенно незнакомый человек и у меня нет подарка для вас!

— Это не столь в...важно. Мне приятно.

Он вышел. Посмотрев на почтовый ящик, списал адрес. Пошлю открытку. Булочная была закрыта. На двери висела табличка: закрыто на 10 минут. Подожду. Он сел на лавку, напротив детской площадки. Семейные пары проводили праздничный день, играя в снежки со своими отпрысками. Он наблюдал за ними с откровенным любопытством. Когда у меня будет своя квартира и деньги, у меня обязательно будет семья. Может, я тоже хочу жениться?! Мне давно пора бы сделать предложение Бонни, обзавестись детьми. Но куда я приведу семью? В свою малюсенькую съемную квартиру на окраине города?! Нет, сначала я накоплю на квартиру, а потом, пожалуй, и стану счастливым отцом семейства.

Булочная открылась. За кассой стояла старушка. В ее сильно постаревшем лице еще виднелись отблески прежней красоты: идеальный овал лица, большие зеленые глаза и пухлые губы. Старушка была француженкой и он, узнав об этом, частенько к ней зааживал, практиковать свой французский.

— Bonjour, Madame! Comment allez-vous?

— Je suis enchantée de vous voir! Merci, je vais bien.

— Bonne année!

— Merci, a vous auissi!*

После недолгой беседы он покинул магазин. Скоро вечер, а мне еще столько нужно успеть. И почему в сутках лишь 24 часа, кто придумал эту коварную несправедливость. До дома его матери было около получаса ходьбы. Он пошел пешком, он не хотел спешить. По дороге он задумался о Франции. Когда-нибудь я обязательно туда поеду, с женой. Мы будем гулять по Елисейским полям за руку, завтракать горячими круасанами и петь «Марсельезу». Он мечтал. Он часто мечтал. И всегда ему что-то мешало воплотить его мечты в жизнь. Любые, даже самые незначительные. Он всегда откладывал их осуществление на неопределенный срок, и шел к их воплощению, далеко не семимильными шагами.

Дом престарелых располагался в здании бывшего посольства. Комнаты были просторными и достаточно светлыми. К зданию прилегал сад и небольшая площадка для игры в крокет. Он позвонил в дверь. Приветливая медсестра проводила его в комнату отдыха, к матери.

— Мама, я принес тебе маргаритки, твои любимые.

Пожилая женщина, сидевшая в кресло качалке, подняла опущенную голову и посмотрела на сына.

— А они пахнут?

— Наверное.

— Понюхай. Я люблю, когда цветы сильно пахнут!

* — Здравствуйте, мадам. Как поживаете?

— Я рада Вас видеть. Спасибо, хорошо.

— С Новым годом!

— Спасибо, и Вам того же.

Он понюхал, но из-за насморка, продолжающегося в течение нескольких недель, ничего не почувствовал.

— Я ничего не чувствую. Понюхай сама, — и Он протянул матери цветы.

— Па-а-ахнут, — плавно, как бы нараспев, произнесла женщина.

После посещения матери его всегда мучил приступ вины. «Когда-нибудь я обязательно заберу ее к себе. У нее будет самая лучшая комната в квартире, обещаю», — в который раз сказал он самому себе. Нужно еще зайти и купить Бонне мартини. Она меня уже ждет. Она там совсем одна, в своей квартире!

Он запустил руку в карман, проверить, не потерял ли он случайно подарок Бонне. Керамическая собачка спокойно лежала во внутреннем кармане его пальто. На улице стемнело. Закрывались магазины, быстро. Люди спешили домой.

Он застегнул пальто на все пуговицы и засунул руки в карманы. Холодно. Дом Бонни находился недалеко от центра. Он думал о ней. Должно быть, она уже оделась, собрала волосы в пучок, надушилась и ждет его. Она не обладала типичной красотой, но в ней было что-то милое. Он, наверное, любил ее, но никогда не говорил об этом.

Бонни встретила его, одетой в черно-белое вечернее платье. От нее пахло мятой смешанной с мускатным орехом. Приятный запах. Увидев ее, он улыбнулся. Она поцеловала его в щеку. Не ответив на ее поцелуй, он вытащил бутылку Мартини из-за пазухи.

— Я купила оливки, — улыбаясь, сказала Бонни и забрала из его рук бутылку.

Наступила полночь. За окном слышались взрывы фейерверков. Он подошел к окну. «Хочется сказать, что я ее люблю... наверное». Он думал. Ему казалось, что если сейчас он не скажет нечто похожее на признание, то другого шанса у него почему-то может и не быть. Он не отводил взгляда от окна. Бонни сидела на кушетке, поджав ноги. Она молчала.

— Я уезжаю, — сказала Бонни.

— Куда?

— В Лондон. Мне предложили работу в театре. Ты рад за меня?

Он промолчал. Пауза затянулась. Тик-так-тик-так, пели часы на стене, нарушая их молчание.

— Я думал, что *когда-нибудь* мы поженимся, — сказал он. Ему хотелось курить. Пошарив по карманам, он достал трубку и коробочку с вишневым табаком.

Бонни улыбалась. Она видела, что он нервничал. Тик-так-тик-так повторяли свою песенку часы. Он посмотрел на нее. Все-таки она красивая! — промелькнуло в его голове.

— Я думал, что *когда-нибудь* у нас будут дети, — сказал он.

Бонни ничего не отвечала, она продолжала улыбаться. Некоторое время они молчали. Бонни допила мартини и поставила бокал на стеклянный столик, возле кушетки. Она подошла к нему и обняла его за талию, положив голову, ему на плечо.

— *Когда-нибудь*, это слишком долго! Жизнь проходит, мой милый Клод! Я не знаю, когда наступит твое *«когда-нибудь»*, я устала ждать.

— Ты же знаешь, что у меня ничего нет, я не могу взваливать сейчас на себя такую ношу, как семья. Я не в силах отвечать за себя, а за тебя и за детей тем более.

Бонни ухмыльнулась.

— Я никогда не просила тебя отвечать за меня. Мы смогли бы это делать вместе. Смогли бы вместе отвечать за наших детей, дорогой Клод! Ты никогда не думал об этом?

Тик-так-тик-так-тик-так, повторяли часы.

— Проводи меня, мне пора, — с этими словами она вытащила из шкафа чемодан и дорожную сумку.

— Мой лондонский адрес на журнальном столике, запиши его, вдруг захочешь позвонить или приехать.

На улице рассвело. Клод сидел в кресле и пил кофе с шоколадом. Часы на кухне пробили десять. Он поднял телефонную трубку и наизусть набрал комбинацию из семи цифр.

— Доброе утро, Сильвия! Это Клод Ранье. Я хотел бы сегодня забрать свою мать, миссис Ранье домой. Подготовьте, пожалуйста, ее к выписке.

— Хорошо. К скольким ее собрать? — спросила медсестра.

— К полудню, если можно.

— Конечно, будем вас ждать.

Он повесил трубку. Бонни права, жизнь проносится мимо нас с неуловимой скоростью. Сколько же времени я потратил на все возможные «когда-нибудь», — думал он. Жизнь — есть то, что происходит с нами каждую секунду и бессмысленно откладывать это драгоценное время на потом. Если учесть, что это «потом», может и вовсе не настать! — думал он. Немного погодя он набрал еще один телефонный номер. Международный.

— Добрый день, соедините меня, пожалуйста, с мисс Бонни Смит.

— К сожалению, ее нет, — ответил услужливый женский голос.

— Хорошо, тогда передайте, что звонил Клод Ранье и спрашивал размер ее безымянного пальца, — сказал он и повесил трубку.

— Пора бы, наконец, начать жить, — подумал он, раздвигая оконные портьеры.

— Первый день года, еще, столько нужно успеть, — сказал он, подмигивая своему отражению в зеркале.



Надежда Лысенко
(г. Новомосковск)



НОЕВ КОВЧЕГ

В ХРАМЕ

Галина Николаевна прогуливалась недалеко от своего дома. Неожиданно услышала рядом женский голос:

— Галя, здравствуй!

Галина Николаевна не сразу поняла, что это относится к ней. Давно ее так никто не называл. Она подняла голову и посмотрела на стоящую рядом улыбающуюся женщину.

— Не помнишь? Забыла? Аня я, вместе с тобой работали на строительстве кино-театра!

Галина Николаевна вглядывалась в лицо женщины, и что-то очень знакомое было в этом лице. И вспомнила — хохотушку и толстушку Аню. Но как же время меняет людей!

— И ты очень состарилась! — сказала Аня и вздохнула. — Стареем!

Постояли, помолчали, глядя друг на друга, а потом каждый поведал о своем. Галина Николаевна поведала о своих соседях: «Обижают!»

— А ты сходи в храм,— сказала Аня, — посоветуйся с батюшкой! — Поговорив еще немного, расстались.

Всю ночь Галина Николаевна не спала, засели в голове слова Ани. Под утро забылась в коротком, беспокойном сне. Проснувшись, увидела желтые лучи солнца в оконной раме и решила: «Пойду!»

* * *

Еще издали Галина Николаевна увидела сверкающий на солнце высокий купол храма. До нее долетели звуки колокольного звона. И вдруг на нее пахнуло таким далеким и невозвратным детством, что она на какое-то мгновение остановилась, взволнованная, и как кадры кинохроники промелькнули перед ее глазами картины ее детства: деревня в несколько домиков, маленькая церковь, и молодая мама ведет ее туда за руку. А потом судьба распорядилась так, что они оставили свою деревню и переехали в город, а потом и вовсе уехали далеко от родных мест. Воспоминания эти были настолько пронзительными и ясными, что Галине Николаевне пришлось постоять неподвижно несколько минут, чтобы справиться с охватившим ее волнением. Потом, перекрестившись, она вошла внутрь храма.

Прихожан в храме было немного. В основном это были старушки. Кто ставил свечку перед образом, а кто стоял перед зажженной свечой и усердно молился. Галина Николаевна купила свечки и спросила свешницу:

— А с батюшкой можно поговорить?

— Конечно,— ответила та доброжелательно.— Сейчас батюшка выйдет, и поговорите.

Галина Николаевна поставила свечку святому Пантелеймону, Николаю-угоднику и скромно встала около стены, дожидаясь, когда выйдет батюшка.

— А как зовут батюшку? — спросила Галина Николаевна пожилую женщину, стоящую перед образом святого Пантелеймона.

— Отец Никон! — шепнула та и снова перекрестилась.

Отец Никон был немолод: высокий, плотный, с небольшой темной бородой, с внимательными добрыми глазами из-под густых бровей. Он вышел как-то неожиданно, и две старушки бросились к нему навстречу. Они что-то сказали ему, отец Никон очень тепло им что-то ответил, поочередно кладя свою широкую ладонь им на голову и затем перекрестив. Галина Николаевна, глядя на это, еще больше укреплялась в желании поговорить с батюшкой, и когда он уже отходил от старушек, она заспешила к нему навстречу:

— Батюшка, отец Никон, можно с Вами поговорить?

Он остановился, готовый выслушать. Галина Николаевна рассказала о своей жизни, о своем одиночестве, о соседях. Отец Никон слушал, не перебивая, на его лице Галина Николаевна замечала следы сострадания. Когда она замолчала и с тревогой ждала ответа, он сказал слова, которые глубоко запали в ее душу:

— Измените свое отношение к соседям,— сказал отец Никон,— выставите все плохие чувства за дверь (зависть, злость, раздражение), и пусть они побудут за дверью. И потом, спустя какое-то время, вы не заметите, как они уйдут от дверей, и вы будете идти домой, как в маленькую церковь!..

И по дороге домой, и дома Галина Николаевна все раздумывала над необычной простотой и в то же время мудростью этих слов.

МАМА

Теплым августовским вечером не стало моей мамы. Пять лет мамы нет со мной, а я как сейчас вижу ее милое лицо с мелкими морщинками на щеках, внимательные темные глаза, слышу ее спокойный, неторопливый голос. Мама часто вспоминала о своем детстве. Рассказывала, как отец запрягал в сани лошадь по кличке Рысак, усаживал в сани маленькую Сашу и ее двух маленьких братьев Колю и Ваню, и они проезжали несколько раз по деревне.

— Бывало, голову поднимет,— рассказывала мама,— весь в яблоках, бежит легко. Отец привел его откуда-то издалека.

Мама вспоминала своего отца, высокого, с голубыми глазами и пшеничными волосами, веселого.

— Любил он нас, детей,— говорила мама.— Жалел!

Мамино детство закончилось неожиданно, с началом коллективизации. Отец в колхоз идти отказался. Не мог он отдать то, что заработал своим трудом за долгие годы. Но то, что не отдал добровольно, брали силой. Корову взяли со второго раза. А лошадь взять не смогли.

— Несколько раз пытались набросить на Рысака хомут, рассказывала мама,— но он каждый раз уклонялся и пытался лягнуть копытом обидчика. Отец отвел его куда-то далеко и продал. А перед тем, как отвести Рысака, плакал,— говорила мама. Из дома их, выгнали, ютились в маленькой баньке во дворе.

А в доме расположился комитет бедноты. Отца ловили. Однажды, когда он пробрался потихоньку в баньку навестить семью, его поймали, жестоко били, чудом ему удалось вырваться и убежать.

Мытарства их продолжались пять лет. Потом отец написал, видимо, в Москву. Дом вернули, но жили в нем недолго, кто-то ночью поджег. Им удалось спастись. Уехали всей семьей в город.

— Я уже подросла,— рассказывала мама.— Да и братья выросли. Отец устроился на кирпичный завод, дали нам комнатку в бараке, а я тоже пошла работать в институт, мыла лабораторную посуду.

— Вскоре брата Колю взяли в армию и объявили войну,— вспоминала мама. Поезд, в котором ехал брат Коля, попадает под бомбежку. Колю контузило, и он оказывается в госпитале. Из госпиталя он пишет письмо домой. Отцу стало плохо с сердцем,— говорила мама.— Все, бывало, смотрит на Колины вешки. А через три дня отца не стало. Отец умер молодым, ему не было и пятидесяти.

Мама не любила рассказывать о войне, но когда я очень просила, мама рассказывала о 18-часовой работе за станком, о пустой похлебке, в которой иногда плавали листики капусты, о маленьком кусочке хлеба, и о постоянном чувстве голода.

Много тяжелых испытаний выпало на долю моей мамы в годы войны, и она имела медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Иногда она вспоминала, как познакомилась с моим отцом. Было это незадолго до начала войны, мама тогда работала помощником мастера на заводе.

— Вижу, стоит парень, высокий, темноволосый,— вспоминала мама. Стоит и смотрит на меня. Однажды я ему говорю: «Зачем ходишь?» А он серьезно отвечает: «Мне бы только на тебя посмотреть!»

— Я его гоню, а он улыбается! — рассказывала мама.— А потом пригласил меня в заводской клуб в кино, я согласилась. Так стали встречаться, а спустя некоторое время расписались.

...Шла война. В напряженном ритме работали в тылу фабрики и заводы. На одном из таких заводов за станком работала Саша — моя мама. Почти сутками не выходила она из цеха. Голод, недоедание, тяжелая физическая работа, страшные болезни косили людей. Малярия! Сколько человеческих жизней унесла эта болезнь. Не миновала она и Сашу. Ее положили в больницу. В больнице давали желтые таблетки, от которых лицо и тело становилось желтого цвета. Помогали они плохо. Изредка, с трудом, держась за кровать, она подходила к окну. Как — то, стоя у окна, она увидела такую картину: в больничный двор быстро въехала грузовая машина и остановилась у сарая, двое рабочих вынесли оттуда человеческие трупы и побросали в кузов машины, и машина так же стремительно выехала со двора. Эта картина настолько потрясла Сашу, что ночью она не смогла уснуть, мысли о смерти пугали ее. Утром пришла в палату нянечка и сообщила: «Саша, к тебе муж пришел!» В больницу родственников не пускали, и Саша знала, что Ефим будет стоять на улице, под окном палаты. Поднявшись с трудом и держась за спинку кровати, Саша подошла к окну. Ефим был уже там.

— Как ты? — спросил он. Саша хотела сказать, что она, наверно, больше не придет домой и чтобы он берег себя, но когда она стала говорить, язык ей не повиновался и, она замолчала, и только махнула рукой. Этот жест означал «Не спрашивай!» Саша смотрела на мужа долгим, нежным взглядом и вдруг увидела на его щеках слезы. Он смотрел на нее, и слезы текли по его худым, небритым щекам. И Саша тоже заплакала. И потом, лежа в постели, она долго еще плакала. Из этого состояния ее вывел голос нянечки: «Саша, к тебе муж пришел, домой тебя берет!» Дорогой Ефим нес Сашу на руках, так она ослабла и не могла идти сама. Дома Ефим усадил Сашу на стул, поставил на стол перед ней тарелку с жареной яичницей. Недавно он получил по месячному талону яичный порошок. «Не хочу!» — слабо сказала Саша. «Поешь, хоть немного!» — уговаривал Ефим. Пришла соседка по бараку, чувашка тетя Маша. Посмотрела на Сашу, на Ефима, ни о чем не спросила, только горестно по-

вздыхала и ушла. На другой день пришла с литровой бутылкой, наполненной зеленой жидкостью. Тетя Маша налила полстакана и подала Саше.— Не хочу! — «Пей!» — строго, но доброжелательно сказала тетя Маша.— «Это глухая крапива, она тебе поможет!» Саша сделала несколько глотков и поморщилась: «Горько!» «Пей сразу, не останавливайся!» — посоветовала тетя Маша. Прикрыв глаза и сдерживая дыхание, Саша выпила зеленую жидкость. «А теперь поешь!» — сказала тетя Маша и придвинула к ней тарелку с кусочками рыбы и несколькими ломтиками хлеба. Саша несколько раз поковыряла вилкой в тарелке и отодвинула ее.

Так продолжалось несколько дней. Через неделю Саша попросила еды. «Ну, Слава Богу!» — радостно и с облегчением вздохнула тетя Маша. С этого дня Саша пошла на поправку. И вскоре снова пришла в цех за станок, на котором работала всю войну. Так Любовь и Доброта с Божьей помощью спасли жизнь моей мамы.

* * *

Когда не стало моего отца, мама всю жизнь посвятила мне. Оберегала мое детство, старалась дать мне образование.

Став взрослой, я часто спешила по своим делам, а мама оставалась одна в тишине квартиры. О чем она думала, оставаясь одна?

Об этом я уже не узнаю. А надо бы почаще маму радовать, говорить ей теплые, ласковые слова. А я все спешила, спешила...



Геннадий Маркин
(г. Щекино)



УБОГАЯ

В каком именно году эта женщина поселилась в деревне Никольские Выселки, сейчас не скажет никто. Старики умерли, люди среднего возраста еще при Советской власти переселились из деревни в благоустроенный поселок, а молодежь, после ликвидации совхоза, разъехалась по разным городам и весям.

Сойдя с поезда на небольшой железнодорожной станции, что в семи километрах от деревни, и уточнив у местных жителей, где находится сельский совет, она направилась туда лично к председателю, и после длительной и нудной беседы с ним, получила предписание на постоянное место жительства именно в Никольские Выселки.

Не старая еще, но уже совершенно седая женщина, с худым изможденным лицом, она всю семикилометровую дорогу до деревни шла пешком, неся в руке единственную ношу — небольшой чемодан из коричневого кожзаменителя. Встречавшиеся у нее на пути люди останавливались, и с состраданием, а кое-кто и с любопытством долго смотрели ей вслед, из-за того, что она при ходьбе прихрамывала на одну ногу и сильно сгибалась вперед спину, отчего одна ее рука казалась длиннее другой. «Убогая», — сразу «окрестили» ее деревенские жители, как только она пришла в Никольские Выселки.

Такое название деревня получила давно, еще во времена отмены на Руси крепостного права. В ту пору, в окрестных деревнях, многие крестьяне, почувствовав первые запахи свободы, стали бражничать, перестали обрабатывать барские земли, и без надобности дубасить друг друга до полусмерти. Когда такое явление началось повсеместно, помещик Яков Сергеевич Никольский вызвал конвойную команду солдат, и выселил таких крестьян вместе с семьями из их деревень, определив им место для поселения на краю оврага, недалеко от стоявшего темной стеной леса. Отсюда пошло и название деревни — «Никольские Выселки», а лес с того времени стали называть Рубленным, потому, что переселенцы на постройку своих изб деревья валили топорами.

Крайний от леса дом — небольшой пятистенок, в котором теперь предстояло жить Убогой, был построен значительно позже, уже при Советской власти. В тридцатых годах в нем размещалось правление колхоза «Красный Пахарь», а в конце сороковых, когда произошло объединение нескольких колхозов в одно большое совхозное хозяйство, правление распустили, а дом за ненадобностью заколотили досками. С тех пор дом находился в запустении. Изгородь отсутствовала, бревенчатые стены местами сгнили, шиферное покрытие крыши от времени почернело и раскрошилось, дверь и окна заколочены, вокруг дома и до самого леса разросся бурьян.

Увидев, в каком плачевном состоянии находится ее новое жилище, Убогая не впала в уныние, а с завидной энергией начала обустраиваться. Оторвала заколоченные на окнах и двери доски, выгрела из дома мусор, вымыла окна, пол, вырвала около дома бурьян, и, как смогла, сделала изгородь. Со временем вскопала землю под огород, по-

садила фруктовые деревья. Устроившись на работу в совхоз дояркой, скопила денег и выстроила сарай, в котором у нее поселились куры, несколько овец и коза.

По характеру Убогая была человеком замкнутым, малообщительным, и ее прошлое для деревенских жителей долгое время было окутано тайной. Знали, что зовут ее Серафимой Аркадьевной, фамилия — Краснова. Еще знали, что раньше она жила в Москве, и работала на одном из заводов разнорабочей. Там же на заводе, она получила серьезную травму спины, после чего ее, калеку, бросил муж, и она, став совершенно одинокой, уехала «куда глаза глядят», подальше от мужа, который в их квартире стал проживать с другой женщиной. Простодушные деревенские люди сочувствовали ей, а женщины возненавидели предавшего ее мужа, и не раз предлагали ей сжечь его фотографию, которую, к их удивлению, Серафима Аркадьевна хранила в рамочке и держала на самом видном месте. «Любит все-таки!» — сочувственно говорили одни, — «Сердцу не прикажешь!» — вздыхали другие. Однако у некоторых ее рассказы о себе вызывали сомнения. «Уж больно она интеллигентна!» — говорил водитель грузовика Костя Беликов. — «Я, когда в Москве служил и возил на легковушке генерала, то посмотрелся там на всяких интеллигентш. Все они, такие как наша Убогая, и разговаривают так же, как учительницы», — уточнял он. Возможно, Серафимино прошлое так и осталось бы для деревенских жителей тайной, если бы жившая с ней по соседству деревенская сплетница Анна Смирнова не заметила, что к ней частенько заходит участковый уполномоченный. На Анну нахлынуло чувство ревности, да такое, что за ее еще не увядшей грудью с негодованием заклокотало сердце. «Это как же такое получается? Я этого кобеля форменного кормлю, пою, в кровати улажаю, а он мне с этой уродиной изменяет? Ну, подожди же, ты у меня дождешься! Вы у меня все дождетесь!» — возмущалась Анна до той поры, пока не узнала, что уполномоченный к ее новой соседке заходит исключительно по служебной необходимости, и как к женщине к ней никакого интереса не проявляет. Зайдет, походит по дому, осматривает все внимательно, поговорит с Серафимой о чем-то, запишет и уходит. От него-то и узнала Анна о Серафимином прошлом.

— Да сидела она, сидела! В лагере отбывала срок! — проговорился участковый после очередного стакана самогона, который ему от щедрот своих наливала Анна.

— Гриш, да ты толком расскажи, за что сидела-то? — выпытывала любопытная Анна, подливая уполномоченному в стакан самогон.

— Вражина она, сучка немецкая! Я на фронте фрицев бил, и Митька твой погибший бил, а она с ними... трале-вали, устраивала! — возмущался опьяневший уполномоченный, — за измену Родине она сидела!

— Вот тебе и Серафима Убогая! Тихоня! Интеллигентша городская!» — со злорадством в голосе проговорила Анна.

— Да никакая она не убогая! Лес она в лагере валила, вот ее, курву, там деревом по спине и шарахнуло! Тырам... тыравими... тыравимированная она, — с трудом выговорил слово вконец опьяневший участковый, держа в руке очередной стакан с самогоном. А на следующее утро он примчался к Анне, и, опохмелившись, заговорил полупешотом: «Ты, Нюрка, забудь, о чем я тебе вчера говорил. Тайна это служебная, поняла? А то несдобровать мне, поняла?» И хотя Анна ответила, что все поняла, и о Гришкиной служебной тайне никто и никогда не узнает, было уже поздно. Вся деревня об этом уже знала еще накануне вечером, после того, как Григорий, уйдя от Анны, с трудом забрался в повозку, и, отхлестав спяну вожжами служебную лошадь, стремглав умчался из деревни.

После этого случая жизнь Серафимы Аркадьевны стала невыносимой. Ей били оконные стекла, при встречах обзывали убогой немецкой шлюхой, ругали по-матерному, или молча, но со злостью плевали вслед. Все обиды и оскорбления Серафима переносила молча, никогда и ни с кем не ругалась, и никогда ни перед кем не

оправдывалась. Но однажды, после произошедшего случая, люди перестали вступать с ней в конфликт, старались избегать с ней встречи, а то и вовсе стали ее побаиваться. А произошло следующее событие.

Как-то под утро, Серафима услышала истошные крики животных, раздававшиеся из ее сарая. Войдя туда, она увидела забравшегося в овчарню молодого волка, который уже успел задрать одну овцу. Увидев вошедшего в сарай человека, волк бросился к выходу, как раз туда, где стояла окаменевшая от страха Серафима, и перепуганная женщина, решив, что волк хочет броситься на нее, успела схватить волка, и свалившись вместе с ним, подмяла серого разбойника под себя, сдавив и прижав к полу волчью шею. Так она держала его, крича от страха и зовя на помощь, пока волк не обмяк и не перестал бить Серафиму задними лапами по животу. Не дождавшись ни от кого помощи, Серафима отпрянула от волка, и, поднявшись, как обезумевшая, стала на него смотреть. Вдруг, ей показалось, что волк зашевелился, и она в ужасе убежала прочь. Вскоре, двое мужиков, поткав предварительно волка нанизанными на длинную ручку вилами, и убедившись, что он мертв, пугая оцетинившихся деревенских собак, сволокли волка в овраг, где его и закопали.

Прошли годы. Деревенские люди, живя своими ежедневными проблемами и заботами, все больше и больше стали забывать Серафимино прошлое, и со временем неприязнь к ней уже не испытывали. Совхоз «Вперед к Коммунизму» с каждым годом хорошо шел и набирал силу. На его землях вырос благоустроенный поселок, в который переехали жить многие семьи колхозников, оставив в деревнях доживать свой век стариков.

Радужным, лучезарным и многообещающим всходило солнце над Рубленным лесом, освещая все его дремучие и застойные места, пробуждая и призывая все живое к новой жизни. По оврагу, вдоль речки, вместе с запахом луговых цветов и многообещающими словами молодого и энергичного Генерального секретаря в Никольские Выселки ворвалась перестройка. Многие колхозники, поверив в новую жизнь, отказались от совхозного хозяйства и приняли доселе неизвестное фермерское движение. Но время шло, а улучшений в их жизни не наступало. Вскоре, побросав в полях ржаветь приватизированную сельскохозяйственную технику, распродав совхозные постройки и пустив под нож на мясо оставшееся поголовье скота, сбежали куда-то и сами фермеры. Оставшись без средств, колхозники в поисках лучшей жизни, стали покидать родные места, и вскоре в деревнях осталось несколько одиноких стариков и старух. А еще спустя несколько лет, когда Никольские Выселки за долги отключили от системы центрального электроснабжения, в обесточенной деревне жила только одна убогая Серафима. Приносившая ей пенсию почтальонша в опустевшие и заросшие бурьяном Выселки, одна без провожатых, ходить боялась, из-за чего Серафима часто оставалась без денег. На какие средства она жила и чем питалась, никого не интересовало, всем было не до нее, все были заняты своим собственным выживанием в наступившие трудные времена. Однако перестройка в жизнь людей внесла не только отрицательные моменты, появились и положительные стороны, одной из которых стала проводимая повсеместно работа по реабилитации незаконно осужденных людей в годы правления Сталина. Не обошла стороной реабилитационная волна и Серафиму.

Как-то в один из солнечных дней, с трудом продираясь сквозь густо разросшийся бурьян, в ее дом вошли двое мужчин и женщина. Осмотрев покосившиеся двери, полусгнившие оконные рамы и провисший потолок, пришедшие покачали головами и аккуратно, чтобы не испачкаться о вековую пыль и нависшую повсюду паутину, подошли к сидевшей на кровати Серафиме. Объяснив, кто они такие, пришедшие вручили ей документ о ее реабилитации, и еще долго не могли понять слышит ли их полуглая почти ослепшая Серафима, пока она вдруг не заговорила с ними совсем не старческим хорошо поставленным голосом.

— Скажите, а Отто Карлович тоже оправдан?

— Да, Отто Карлович Брехт тоже реабилитирован,— ответили ей, а затем, немного помолчав, добавили,— мы будем ходатайствовать о назначении вам персональной пенсии, как человеку очень много сделавшему героического для Родины. А пока, предлагаем вам переехать жить в благоустроенный дом для инвалидов и престарелых, где за вами будет осуществляться уход и медицинское наблюдение. Подумайте, пожалуйста.

Серафима сидела молча, лишь изредка кивая головой. «Она согласна»,— решили гости, и, пообещав скоро вернуться за ответом, ушли. После их ухода, Серафима с каким-то безразличием отложила в сторону свой реабилитационный документ и взяла в руки старую пожелтевшую фотографию, на которой был сфотографирован улыбающийся молодой человек в модно повязанном галстуке, ту самую, которую деревенские женщины ей предлагали сжечь в печи. Вытерев юбкой пыль с деревянной рамки, она с грустью в глазах посмотрела в почти забытые, но все еще родные глаза.

Серафиме вспомнилась предвоенная гитлеровская Германия, где он — немец антифашист, профессиональный советский разведчик Отто Карлович Брехт, и она, Серафима Аркадьевна Краснова, а по легенде его жена Марта Фридриховна Брехт, выполняли секретное задание Родины по созданию в тихом немецком городке агентурной сети. Проведя вместе с Отто Карловичем не один год, Серафима Аркадьевна не по легенде, а по-настоящему полюбила этого смелого и мужественного человека, который не щадил себя в деле борьбы с фашизмом, и, как это ни глупо, всегда ревновала его к несуществующей Марте. Как-то она призналась ему в этом, после чего Отто улыбнулся и, проведя ладонью ей по щеке, сказал: «Оставим время для любовных утех, когда победим врага и вернемся на Родину». На Родину они вернулись после того, как была провалена их агентурная сеть, и они, чудом избежав гестаповского ареста, перебрались в нейтральную Швейцарию, где и получили шифровку о возвращении. Серафима обрадовалась возвращению, решив, что в Москве наступит время их настоящей, а не спрятанной под агентурную легенду, супружеской жизни. Но по приезду в Москву они были арестованы органами НКВД. Отто Карлович, как немецкий шпион был расстрелян, а Серафима Аркадьевна, за пособничество и измену Родине была приговорена к двадцати пяти годам лагерей, и вышла на свободу, только благодаря хрущевской оттепели.

— Вот и оправдали нас с тобой, милый мой Отто,— проговорила Серафима Аркадьевна, смотря на фотографию, и ее глаза впервые за несколько лет повлажнили.

Уже начавшую разлагаться Серафиму в ее заросшем бурьяном доме обнаружила почтальонша, когда в очередной раз принесла ей пенсию. Умершая лежала на кровати и прижимала к груди самое дорогое, что у нее оставалось в этой земной жизни — старую пожелтевшую фотографию.

Хоронили Серафиму Аркадьевну на старом деревенском погосте, и когда гроб с ее телом опускали в могилу, где-то в районе Никольских Выселок громко заплакала иволга, а ночью в лесу долго и протяжно выли. Поговаривают, что в Рубленом лесу вновь появились волки.

